

В Форуме «Этические проблемы полевых исследований» приняли участие:

- Сергей Абашин** (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
- Дмитрий Арзютов** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого /Кунсткамера/ РАН, Санкт-Петербург)
- Мария Ахметова** (Журнал «Живая старина», Москва)
- Ольга Бойцова** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого /Кунсткамера/ РАН/Европейский университет в Санкт-Петербурге)
- Елена Боряк** (Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рильского НАН Украины)
- Александра Брицына** (Институт искусствоведения, фольклористики и этнологии им. М.Ф. Рильского НАН Украины)
- Маркус Бэнкс** (Оксфордский университет, Великобритания)
- Зинаида Васильева** (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
- Виктор Воронков** (Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург)
- Наталья Галеткина** (Европейский университет в Санкт-Петербурге)
- Брюс Грант** (Нью-Йоркский университет, США)
- Эльза-Баир Гучинова** (Институт этнологии и антропологии РАН, Москва)
- Наталья Дранникова** (Поморский государственный университет, Архангельск)
- Владимир Ильин** (Санкт-Петербургский государственный университет)
- Катриона Келли** (Оксфордский университет, Великобритания)
- Жанна Кормина** (Санкт-Петербургский филиал Государственного Университета — Высшей школы экономики)
- Михаил Лурье** (Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств/Академическая гимназия СПбГУ)
- Лариса Павлинская** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого /Кунсткамера/ РАН, Санкт-Петербург)
- Ирина Разумова** (Центр гуманитарных проблем Баренц-региона Кольского научного центра РАН/Кольский филиал Петрозаводского университета, Апатиты)
- Дональд Дж. Ралей** (Университет Северной Каролины, США)
- Никита Ушаков** (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого /Кунсткамера/ РАН, Санкт-Петербург)
- Елена Чикадзе** (Центр независимых социологических исследований, Санкт-Петербург)
- Нона Шахназарян** (Кубанский Социально-экономический Институт/Центр Кавказско-понтийских исследований, Краснодар)
- Брайан Швеплер** (Университет Чикаго, США)

Этические проблемы полевых исследований

ВОПРОСЫ РЕДКОЛЛЕГИИ

Темой пятого номера стали этические проблемы полевых исследований. Выбор этой темы объясняется тем, что в последнее время появляется все больше поводов говорить о непростых отношениях между научной и этической позициями исследователей, работающих в «поле». Собственно, перед каждым ученым, имеющим дело с информантами, возникают вопросы, относящиеся к области этики научного исследования. Многие из этих вопросов не имеют однозначного и всех удовлетворяющего ответа. Весьма вероятно, что такого ответа не существует. Вместе с тем во многих странах разработаны корпоративные соглашения по этике научных исследований. Например, согласно кодексу Американской ассоциации антропологов [*Code of Ethics of the American Anthropological Association*, 1998] предполагается, что антрополог обязан следовать таким принципам как: 1) прозрачность исследования (следует знакомить информантов с целями исследования и указывать организации, поддерживающие данный проект); 2) уважение человеческого достоинства информантов (из чего вытекает, например, что следует выяснить, хочет

информант остаться анонимным или нет, и по возможности действовать в соответствии с его желаниями); 3) содействие совместной работе (предполагается, что исследователь должен всячески способствовать другим исследователям, работающим в этом же месте, обеспечивать свободный доступ к собранным материалам и т.д.). Ничего необычного здесь нет, и большинство «полевиков» придерживаются подобных принципов (существуют и менее привычные требования, например, письменного согласия на интервью)¹. Разумеется, никакое соглашение не может регламентировать более тонкие коллизии, которые возникают в полевых исследованиях.

Редколлегия АФ видит свою задачу в том, чтобы выяснить мнение участников дискуссии относительно необходимости введения ограничений в исследовательские практики, а также обсудить конкретные сложности и проблемы, с которыми встречаются исследователи, проводящие полевую работу и публикующие ее результаты. Главный вопрос можно сформулировать следующим образом: где проходит грань «дозволенного» для науки? Что, в конечном счете, для нас важнее — соблюдение этических требований по отношению к информантам или выявление и сохранение информации?

Редколлегия журнала обратилась к ряду исследователей из России и бывших союзных республик (этнографов, фольклористов, социологов, специалистов по устной истории) с просьбой ответить на вопросы, ориентированные на выявление «болевых точек» этического характера, которые возникают в процессе полевой работы².

1 *Какие этические проблемы представляются Вам наиболее значимыми? С какого рода этическими проблемами сталкивались Вы или Ваши коллеги при проведении полевых исследований и подготовке научных публикаций? Приходилось ли Вам изменять свои планы из соображений этического характера?*

2 *Вправе ли этнограф (социолог, фольклорист и др.) скрывать от людей, с которыми он работает, цели и характер своих изысканий? В какой мере можно пользоваться «легендой», представляясь своим информантам? Вправе ли мы собирать информацию, в том числе использовать специальные технические средства, без санкции того человека, кто эту информацию предоставляет?*

3 *Может ли исследователь быть беспристрастным наблюдателем при работе в поле? Не становится ли наше присутствие в*

¹ См. информацию по этим вопросам: <<http://www.web-miner.com/anthroethics.htm>>; <<http://www.theasa.org/ethics.htm>>.

² Редколлегия выражает глубокую благодарность Сергею Абашину за участие в составлении этих вопросов.

изучаемом обществе и публикация сведений об этом обществе вмешательством в жизнь людей, которое может изменить их судьбы? Не превращаемся ли мы иногда в вольных или невольных соучастников безнравственных акций? Не провоцируем ли мы экстремистские действия, и каким образом можно избежать подобных последствий?

4

Можем ли мы публиковать приватные сведения и их интерпретацию, если в результате они могут, пусть предположительно, нанести ущерб информанту или представить его в невыгодном свете? Является ли практика зашифровывания имен информантов и мест сбора информации способом избегания этических и юридических коллизий? Должна ли стать обязательной формальная санкция информанта на сбор и публикацию сведений о нем? В какой степени и в какой форме следует знакомить информантов с результатами исследования?

5

Как Вы думаете, в чем причины активизации дискуссии вокруг проблем научной этики в последние годы? Можем ли мы говорить об особой отечественной традиции понимания вопросов исследовательской этики? Считаете ли Вы необходимым создание корпоративного соглашения по исследовательской этике, подобного уже существующим? Возможно ли эффективное функционирование подобного документа в России? Если нет, то почему?

Кроме того, редколлегия показало уместным обратиться к коллегам из тех стран, где обсуждение и регламентация этических отношений имеют относительно продолжительную историю, с просьбой поделиться своим мнением относительно этого комплекса проблем. Им были заданы следующие вопросы.

Существует ли в организации, где Вы работаете, этический кодекс, и если да, то что он регулирует? Насколько он полезен (или вреден) для Ваших исследований? В какой степени можно соблюдать необходимое равновесие между свободой информации/необходимостью открытости информации в рамках научного сообщества и уважением к частной жизни информантов?

Очевидно, что никакой свод норм поведения не способен охватить все разнообразные этические проблемы, которые могут возникнуть в ходе полевой работы, особенно если иметь в виду возможность варьирования в представлениях различных культур о личном достоинстве. Приходилось ли Вам сталкиваться с проблемами, попадающими, с точки зрения этических кодексов поведения, в «серую область», и если да, то что Вы делали для их решения?

СЕРГЕЙ АБАШИН**1**

Я позволю себе несколько переиначить первый вопрос. Российские этнографы, как и этнографы других стран, имеют дело с людьми и поэтому должны очень внимательно относиться к этической стороне своей деятельности. Данный, казалось бы, очевидный факт до сих пор не стал предметом заинтересованных размышлений и обсуждений. Почему?

Один ответ такой: в российской этнографии все еще доминирует наивно-романтическая точка зрения, согласно которой наука вообще — это абсолютное добро, которое приносит людям и обществу только положительные плоды, просвещает их, открывает им дорогу в рационально устроенное будущее. То же относится и к этнографии, которая сообщает сведения о других культурах и открывает законы их жизни, а значит выполняет исключительно гуманистическую миссию. Связь научного знания с угнетением и подавлением, о которой много пишут в европейской и американской антропологии, кажется большинству отечественных этнографов либо преувеличенной

**Сергей Николаевич
Абашин**
Институт этнологии
и антропологии РАН, Москва

и косвенной, либо вовсе надуманной. Отсюда российские исследователи приучены не видеть моральную сторону своей деятельности, а если и сталкиваются лично с такого рода проблемами, то не выносят их на всеобщее обозрение.

Но возможно и другое объяснение: отсутствие размышлений на тему этнографической этики — это своеобразная самозащита. Полевое исследование само по себе является ненормальным явлением. Человек, который постоянно что-то выпытывает, ходит из дома в дом, без разбора навязывается в гости и приятели, ведет себя «неправильно» — и с точки зрения своего привычного образа жизни, и с точки зрения изучаемого общества. Если все время подвергать любые шаги исследователя этической оценке, то неизбежно придешь к выводу об изначальной асоциальности и аморальности профессии. Чтобы этого не произошло и чтобы сохранить хотя бы видимость «научности» (а без нее исследовательская работа теряет смысл), этнограф вынужден закрывать глаза на неприятные вопросы и подозрения.

Какую из этих двух версий ответа предпочесть — я не знаю.

2

Вопрос о сокрытии целей исследования не совсем прост, как это кажется на первый взгляд. Во-первых, очень часто люди, с которыми этнографы имеют дело, не понимают разъяснения ученого и не доверяют им. В одном селении, где я прожил не один месяц и где у меня сложились действительно доверительные отношения, знакомый сказал мне: «А ты все-таки работаешь в КГБ!» Переубеждать его было бесполезно, поскольку все мои официальные документы, мои рассказы о целях этнографии и даже вовлечение в сам процесс изысканий оказались, с его точки зрения, неубедительными и несерьезными. Смисла создавать себе «легенду» не было, поскольку население само за меня эту «легенду» придумало!

Во-вторых, технология этнографического исследования — может быть, это звучит излишне романтически — предполагает максимальное сокращение дистанции, неформальность и доверительность. Какие-то факты и комментарии становятся доступными только в том случае, если исследователь делает вид, что его эти факты и комментарии не интересуют. Вне всякого сомнения, это злоупотребление доверием информанта, т.е. обман. Но как быть тогда с желанием исследователя быстро и эффективно проникнуть вглубь изучаемого общества, узнать о всех подспудных течениях, сплетнях, конфликтных историях? Или как быть в тех случаях, когда речь идет об изучении заведомо закрытых тем — преступности, проституции, нелегальной миграции, разного рода замкнутых сообществ и т.д., изучать которые с официальным удостоверением в руках практически невозможно?

Исследователь во многих ситуациях вынужден выбирать между некоторыми моральными ограничениями и истиной в пользу последней, пусть даже эта цель на самом деле иллюзорна и недостижима.

Конечно, грань между научной одержимостью и научным цинизмом очень тонкая. Мне представляется совершенно неприемлемой ситуация, которая была с кем-то из аспирантов одного академического института: исследователь под видом верующего вступил в группу исламских радикалов, а потом написал, кажется, диссертацию о том, что он там видел. Обман в этом случае носил слишком откровенный характер и нарушение этических правил приняло вопиющие формы (хорошо, если результаты такого «исследования» не были использованы потом спецслужбами для преследования «информантов!»). Однако стоит ли, негодую по поводу такого рода примеров, формализовать взаимоотношения этнографа и информанта до такой степени, чтобы они стали похожи, например, на взаимоотношения покупателя и продавца?

Я, разумеется, не призываю к отказу от тех ограничений, на которых настаивает абстрактная этика. Исследователь должен добросовестно им следовать. Но неправильно было бы превращать эти ограничения в фетиш, не принимая во внимание все те конкретные обстоятельства, в которых этнограф может оказаться. Выход из этой коллизии мне видится не в том, чтобы усилить контроль за действиями исследователя (все равно такой контроль не будет эффективным!), а в том, чтобы технология сбора информации стала предметом самостоятельного анализа и рефлексии, чтобы нормой в профессиональном сообществе стало открытое и откровенное обсуждение этой стороны деятельности и чтобы обучение полевой работе началось с дискуссии об этике поведения исследователя. В научном сообществе существует множество инструментов для того, чтобы если не тотально регулировать, то хотя бы отслеживать случаи превышения этнографами присвоенных ими полномочий.

3

В середине 1990-х гг., проводя исследование в одном селении в Таджикистане, я попал в довольно неприятную историю. Она случилась почти в самом начале моей попытки «внедриться» в местную общину.

Это были тяжелые годы. Резко упал уровень жизни. Таджикское правительство ввело собственную государственную валюту, к которой население отнеслось с недоверием. Эта ситуация породила множество конфликтов. Местный житель — назову его Т. — решил купить мясо на базаре, но мясник отказался продавать товар за таджикские деньги и потребовал российс-

кие рубли. Это разозлило покупателя. Он пошел в сельсовет и сказал председателю, что вот, мол, так и так, если не даст мясо, убью. Председатель пообещал разобраться. Т. отправился обратно и по дороге присоединился к мужской компании, которая сидела в чайхане и употребляла спиртные напитки. «Приняв», Т. отправился к дому мясника — кстати, своего соседа — вызвал его на улицу и ударил ножом — убил.

В этой компании, которая собралась в чайхане, находился и я, предпринимая попытки установить «отношения» с сельчанами. Вряд ли нужно добавлять, что и мне пришлось поучаствовать в застолье. Кажется, я покинул чайхану раньше, чем туда пришёл Т., но факт остается фактом — вольно или невольно я оказался вовлеченным в ту цепь событий, которая в итоге привела к гибели человека. Это было замечено в селении, и мне даже пришлось всерьез задуматься о том, чтобы уехать и начать новое исследование в другом месте.

К чему эти воспоминания? Ясно, что этнограф помимо своего желания может оказаться замешанным в каких-то процессах, о которых он имеет смутное представление или последствия которых он не сможет ни спрогнозировать, ни предупредить. Попадая в «поле» (особенно если речь идет о длительном и основательном погружении в изучаемое общество, а не о мимолетном наезде), исследователь, хочет он того или нет, начинает оказывать влияние на своих информантов и сам попадает под их влияние. Его используют — иногда «втемную», выставляя как щит или как таран, им манипулируют, вокруг него разворачиваются сражения и конфликты. Даже невинное, на первый взгляд, соревнование интерпретаций разных информантов может превратиться в столкновение незаметных поначалу сил или обострение прежних противоречий. Этнограф, не подозревая этого, становится «заложником» изучаемых им людей и обстоятельств. И никакими средствами избежать этого у него не получится.

Совершенно другой случай, когда исследователь сознательно берет на себя роль лоббиста интересов своих информантов и превращается из формально стороннего наблюдателя в активного участника и даже создателя событий. Подобных примеров известно немало. Мне сложно судить об этичности такого поведения. В одних случаях этнограф может под видом борьбы за чьи-то права разжигать страсти и толкать людей на нежелательные поступки и даже преступления. В других случаях угнетенные и обиженные, которыми нередко являются главные информанты этнографа, действительно нуждаются в поддержке и никого, кто мог бы оказать помощь, кроме этнографа, нет. При этом отделить правых от неправых бывает очень сложно.

Единого рецепта поведения для всех этих вариантов не существует. Этнографическое сообщество может только в самом общем виде апеллировать к гуманизму, характерному для нашей науки, и личной ответственности. Выбирать же свой путь — каждому исследователю самостоятельно.

4

Казалось бы, ответы на эти вопросы ясны: наносить ущерб информанту ни в коем случае нельзя, имена и место сбора информации желательно шифровать, а также желательно получать санкцию информанта на сбор и публикацию сведений о нем. Это все в идеале. А на практике? Как определить, какая информация наносит ущерб, а какая не наносит? Как оформлять процедуру согласования текстов с информантами (или с теми, кого эта информация касается)? Что остается при соблюдении всех этих жестких условий от свободы научного творчества?

Вроде бы наиболее оптимальный выход из всех этих моральных и правовых коллизий — шифрование имен и места исследования. Такой способ часто применяется, и его можно назвать наиболее эффективным. Но и он не является безупречным. С одной стороны, для исследователя могут быть важны те точные координаты, которые указывают на происходящие/происшедшие события в данном месте и в данное время, особенно если исследователь использует письменные и архивные свидетельства. С другой стороны, анонимность источников информации затрудняет для других специалистов возможность проверки сделанных выводов и уточнения фактов. Анонимность информации открывает путь к тому, чтобы ошибки того или иного исследователя превращались в беспорные истины.

Вообще такого рода уловки, с помощью которых этнограф будто бы может избежать ответственности за свои изыскания, лишь создают иллюзию честных взаимоотношений с информантом. Гораздо честнее выносить на суд читателя всю подноготную исследования в «поле», открыто признавая свои неудачи и ошибки, анализировать собственный опыт пребывания внутри конкретного общества. Еще лучше — давать живой, неотредактированный голос самим информантам, наделять их правом и возможностью критиковать этнографические наблюдения и выводы, да и вообще писать свои труды не для цитирования, а для заинтересованной дискуссии, для столкновения мнений и придирчивого разбора плюсов и минусов написанного. Может быть, тогда никому в голову не придет обвинить науку в какой-то ангажированности?!

5

На мой взгляд, в России пока не наступило время для принятия кодекса о профессиональной этике этнографов. Назову несколько причин для такого вывода.

Во-первых, сам по себе этический кодекс не отвечает на многие вопросы, которые возникают в ходе исследования. Об этом я подробно сказал выше.

Во-вторых, как я уже говорил, далеко не все российские этнографы озабочены проблематикой такого гипотетического документа. Без какой-то общей искренней заинтересованности этический кодекс превратится в пустую декларацию, которая своей беспомощностью будет только дискредитировать провозглашенные в ней принципы.

В-третьих, российские этнографы пока еще слабо осознают свою корпоративность. Ученых больше связывают вертикальные, а не горизонтальные отношения. Без приказа сверху у нас почти ничего не делается, но сами начальственные приказы преследуют, как правило, цели, далекие от науки как таковой.

В-четвертых, потребность в разработке такого рода документа должна быть осознана не только и не столько внутри этнографического сообщества. Этот документ должен стать результатом диалога этнографов и «гражданского» общества (правозащитных организаций, журналистов, разного рода общественных фондов, юристов и т.д.). Однако я пока не вижу ни самого общественного запроса на научную этику, ни тех институтов, которые могли бы этот запрос сформулировать. К сожалению.

ДМИТРИЙ АРЗЮТОВ

«К людям ради людей»

Именно это положение, когда-то высказанное Рудольфом Фердинандовичем Итсом, видимо, определяет принцип полевой работы этнографа. Фактически полем для этнографа являются люди, их характеры, жизни и судьбы. Через них мы познаем себя. Но как, ограничивая себя рамками этикета, увидеть свой собственный мир, а значит *свой собственный взгляд* на изучаемую культуру? Мне представляется, что для этого человек должен любить поле, любить людей, живущих рядом, а исследование их культуры рассматривать не как часть научного процесса, а как часть своей жизни (хотя бы по факту общения с ними). Именно тогда спадает стена недоверия «объекта»

**Дмитрий Владимирович
Арзютов**

Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург

к исследователю. Однако даже полное доверие и понимание представителей изучаемой культуры не позволяет стать ее частью, раствориться в ней. Остается доля непонимания, одним из оснований чего является именно этикет. Осмыслить эту простую идею довольно непросто. Особенно если смотришь на мир предвзято, выдавая желаемое за действительное (например, ломая копыя по вопросу отсутствия/наличия этноса). Для современного этнографа-полевика фактически стерта грань между цивилизованным «собой» и дикими «ими». Это отчетливо видно, когда проводишь недели в юрте, где стоит компьютер, или употребляешь со всеми вместе в пищу те же продукты питания. Понять, что «они» в современных условиях другие (не как «мы»), сложно. Но есть одно исключение, которое и манит этнографа в поле, — понимание жизни этих людей через призму традиции их культуры. Мы знаем прошлое этого народа (социума), а значит, приписываем ему особое отношение ко всему происходящему. Мы создаем его образ. Группа людей, расселенных, например, в горной тайге, выработала свои нормы и правила поведения, которые существуют вне зависимости от социальных, политических и иных событий в современном мире. Именно эта часть традиции наиболее хранима на фоне веяний «моды», которой так же, как и «мы», охвачены «они».

Опыт

Начинающему этнографу, занимающемуся культурами народов, находящихся в зоне досягаемости, крайне необходима полевая работа. И у каждого в этом смысле свое начало полевой жизни. Мне довелось в первой экспедиционной поездке работать с высокопрофессиональным этнографом. Этот опыт оказался, конечно, бесценным с позиции трансляции научного знания. Во время первого выезда в поле многие вещи «не видны». Глаза открываются только после длительного неформального общения и наведения профессионала на ключевые моменты, тем более если место экспедиционных исследований — конкретный изучаемый поселок или группа сел — ему прекрасно известно, а жители этих мест знают его лично. Так было и тогда. Добравшись до места и расположившись, руководитель экспедиции сказал мне, что с сегодняшнего дня я буду ночевать не с ним в одном доме, а «у людей». Подобное решение поставило меня в тупик. Но, забегаая вперед скажу, что именно такой подход позволил разрушить стену объект-субъектного изучения народа. Действительно, за недельный срок я успел перезнакомиться со всей деревней и перейти в некотором смысле на доверительный тон общения. При этом почти всегда ощущалось крепкое плечо руководителя. Каза-

лось бы, этот опыт построения экспедиционной работы идеален. Однако для местного населения любой новичок, изучающий их народ, представляется учеником приехавшего вместе с ним корифея. Это приводит к формализации ответов со стороны жителей поселка. Так, на вопрос о том, к какому роду Вы относитесь, я зачастую получал ответ: «Так, у Валерки [Валерий — имя руководителя экспедиции. — Д.А.] спроси, и вообще в его книжке о нас все написано». И это, конечно, очень осложняло сбор материала. Преодоление этого разрыва происходило после довольно долгого проживания в поселке. Люди должны привыкнуть к тебе. Необходимо войти в их жизнь, стать ее частью, пусть даже на непродолжительный срок.

Несколько по-иному выглядела моя первая самостоятельная экспедиция. После знакомства с первыми попавшимися мне людьми и ответов на лаконичные вопросы («Кто ты?», «Откуда?», «Зачем ты здесь?») в наших разговорах начался кратковременный период построения ассоциативных связей. Кем я как приехавший этнограф выступаю по отношению к предшественникам-исследователям, работавшим в этих местах ранее? Туда я ехал, отталкиваясь без каких бы то ни было «рекомендаций». В результате последующие вопросы относились непосредственно ко мне. Я почувствовал, что личностный контакт стал много важнее, чем социальный. Дальнейшая работа (хотя, наверное, правильнее сказать жизнь) протекала для меня так же, как первые дни при переезде на другое место жительства. Установление знакомств, общение, выявление интересов... Вхождение в новый мир. Принципиальным отличием от первого моего экспедиционного опыта было то, что люди часто задавали вопросы, которые требовали проговаривания «легенды»: «Зачем тебе приезжать из Питера, чтобы общаться с нами в этой глуши?». На такой вопрос этнограф отвечает почти шаблонно. «Вы храните уникальную культуру, а ваши знания позволяют понять историю многих народов». Боюсь показаться наивным, но проговаривая эту «легенду», я не врал. Люди это понимали. Уже потом, когда среди ровесников из изучаемого поселка у меня появились довольно близкие приятели, мы за обычными душевными разговорами рассказывали о себе, и вот тогда все вставало на свои места. Таким образом, в поселке появляется группа людей, которые знают, зачем ты здесь, и более того, они не меньше тебя заинтересованы в изучении своей собственной культуры. По вечерам они начинают стаскивать в дом, где ты остановился, разные старые (и не очень) вещи, которые использовали их деды и прадеды, рекомендовать надежных информантов. Вот тут-то и возможны первые (и, по всей видимости, последние) серьезные по-

левые проблемы. Расслабившись после «освоения» нового пространства, этнограф становится как бы своим, или своим, но не для всех. В микросоциумах всегда есть группа людей, которая к появлению «инородных» элементов относится, мягко говоря, скептически. Видя, как я хожу по поселку, фотографирую дома, общаюсь с людьми, они продолжают раздраженно задаваться вопросом: «Кто ты и зачем ты здесь?». Обострение этого недовольства происходит обычно в состоянии алкогольного опьянения. Помогают исследователю, как правило, те самые новые приятели, которые на «своем» языке объясняют значимость его работы.

Изложенное — лишь канва экспедиционной жизни. Я не обращался к многочисленным вопросам собственно сбора материала, поскольку в «поле» это происходит незаметно. Если ты фиксируешь (пишешь, фотографируешь, думаешь), материал накапливается сам собой. При этом ты не «травмируешь» культуру своим хамским вхождением. Ты слушаешь ее и стараешься понять.

Один или вместе?

Мне представляется, что идеальным вариантом сбора информации становится именно самостоятельное (индивидуальное) полевое исследование. Когда население не воспринимает ученых как группу, противостоящую ей. Когда в поле работаешь один, характер информации, идущей от людей, значительно более доброжелателен, а сама информация более «объемная».

Зачастую мне как начинающему этнографу приходилось слышать (от профессионалов-полевиков), что можно использовать в поле диктофон, не предупреждая при этом информанта. Полагают, что ему (информанту) все равно, а запомнить и позже записать в полевой дневник всю информацию нельзя. Этот вопрос становится принципиальным, так же, как и скрытое использование фотокамеры. В этом как раз и есть суть полевой этики. Этики отношений — отношений между людьми. Скрытая или явная ложь, даже если она «во благо» (сбора ценной информации), обречена на противодействие, возможно, такое же скрытое. Мы-исследователи и они-информанты — люди, и в этом состоит наша абсолютная одинаковость.

МАРИЯ АХМЕТОВА

2

В этом номере «Антропологического форума» на обсуждение выносятся проблемы сложные и во многом болезненные. Как любые вопросы, касающиеся этики и морали, а также затрагивающие взаимоотношения между людьми, они, во-первых, не имеют однозначного ответа, а во-вторых, они намного глубже, чем может показаться на первый взгляд, и рожают в свою очередь массу других вопросов, их уточняющих.

Не является ли «легендой» (а по сути обманом) «дипломатически обтекаемая» форма самопрезентации (например, при опросах по теме «народная религиозность» собиратели могут говорить, что они интересуются возрождением православия в России — однако очевидно, что для самого носителя «народной религиозности» за этими словами стоит вполне определенное значение, позитивно окрашенное и поэтому располагающее к дальнейшему общению). Обязаны ли мы заранее предупреждать информанта, что его речь будет записываться на диктофон? Иногда информант обнаруживает диктофон в руках исследователя случайно, посреди интервью удивленно и подчас с укоризной в голосе восклицая: «Ой, да вы записываете!» — но отвечать на вопросы продолжает, потому что прерывать беседу уже как-то *неудобно*. Считать ли то, что человек сказал до того, как заметил диктофон, скрытой записью? А если информант слабовидящий или слепой и мы не сказали ему о том, что его речь записывается, — не равнозначно ли это несанкционированной записи? Этично ли интервьюировать человека, находящегося в состоянии опьянения, когда он практически не несет ответственности за себя и за свои слова, и допустимо ли совместное употребление алкоголя с информантом? Наконец, имеем ли мы право привлекать к своей работе душевнобольных, даже если они выражают согласие на общение (ведь по закону они недееспособны и по-

Мария Вячеславовна
Ахметова
Журнал «Живая старина»,
Москва

этому, например, не имеют права выступать свидетелями в суде, стало быть, их согласие не имеет силы)?

А с другой стороны — гарантирует ли подробный ответ о целях и характере изысканий его адекватное восприятие информантом (ведь он может очень смутно представлять себе, что такое университет/научный центр и чем там занимаются)? Не будет ли информанту неприятно слышать, например, исходящую из уст собирателя характеристику его сообщества как *субкультуры* (звучит страшновато), а его собственной речевой деятельности как *фольклора*, особенно если информант — горожанин, да еще и с образованием (не секрет, что в обыденном сознании фольклор — это нечто несерьезное, разного рода сказки-частушки-тосты-песни, которые бытуют в среде полуграмотных деревенских старушек или не вполне цивилизованных народов). Не обидит ли человека признание, что им заинтересовались фольклористы или, еще хуже, этнологи?

Вопросов об этике полевых исследований может возникнуть еще очень и очень много. А насчет того — вправе ли исследователь делать то-то и то-то — пока это относится к области не столько закона, сколько морали, то это право определяется, во-первых, уровнем внутренней порядочности самого исследователя, а во-вторых, как ни странно, его полевым опытом. Поговорить с человеком, выдав себя за кого угодно и имея диктофон в кармане, — в общем, не так уж и сложно. А разговорить информанта из какого-нибудь закрытого сообщества, работая максимально честно, — на это нужно и мастерство, и в каком-то смысле личное обаяние собирателя, и огромные коммуникативные таланты, которыми обладают далеко не все гуманитарии, занимающиеся полевой работой.

4

В любом случае, даже если запись получена некорректным путем, указывать полные данные об информанте в публикации я считаю совершенно недопустимым. Тем более что публикация полных сведений, в общем, не всегда обязательна. Наличие ФИО информантов, безусловно, позволяет исследованию выглядеть более убедительно, но в большинстве случаев эта деталь намного менее важна, чем, допустим, пол информанта, его возраст и место записи; специфика темы исследования определяет важность и других сведений — о роде занятий, конфессиональной принадлежности или грамотности/образовательном уровне. А в некоторых случаях достаточно просто ссылки на архив экспедиции, место записи и номер кассеты по описи.

Ведь, например, ссылка на печатное издание предполагает, что читатель пойдет в библиотеку, откроет книгу на указанной странице и, если пожелает, ознакомится с источником под-

робнее. Ссылка на информанта — это ссылка не столько на человека, сколько на архив научной организации, на базе которого проводилось исследование, либо на личный архив исследователя. Если читатель научной работы сильно заинтересуется репертуаром NN, вряд ли он поедет искать его за тридевять земель, он скорее изыщет возможность ознакомиться с архивом экспедиции, в ходе которой от NN были записаны столь интересные тексты, или попытается выйти напрямую на автора публикации. Поэтому шифровка имени информанта ущерба смыслу публикации не причинит. Велика ли информативная разница между двумя следующими записями: «Иван Петрович Сидоров, 1960 г.р., г. Вологда» и «муж., 1960 г.р., г. Вологда»?

Наконец, в некоторых ситуациях мы просто обязаны при публикации давать минимальные сведения об информантах, по крайней мере без имен, чтобы у них не возникло проблем (например, если информанты — представители криминальной среды, наркоманы и т.д.) — даже если они нас об этом не просят. С местом сбора информации сложнее. Если целью исследования является рассмотрение региональной традиции, без указания места не обойтись.

Если вернуться к этическим аспектам, шифровка имени информантов решает очень многие проблемы, но не все. Если населенный пункт довольно мал, а упоминаемые в исследовании события легко угадываемы, пользы от шифровки не будет. Но даже в этом случае, если ФИО информатов опущены или зашифрованы, это должно предотвратить угрозу для информанта и существенно снизить риск возникновения юридических проблем для публикатора.

Вопрос по поводу санкции информанта на сбор материала, к сожалению, остался для меня непонятным. Если исследователь не скрывает своих целей, то он обычно представляется и спрашивает у информанта, может ли тот с ним поговорить; если информант не отказывается от разговора, в общем, он уже дал согласие на интервью. Если же речь идет о формальной, письменной санкции, в нашей стране эта практика не очень развита. Возможно, пройдет время и она войдет в норму; пока же без нее вполне можно обходиться, а испрашивание такой санкции по инициативе собирателя может вообще навредить. Ведь разговоры разговорами, а просьба подписать какую-то бумагу наверняка вызовет подозрение и оттолкнет информанта от дальнейшего общения.

Знакомить информантов с результатами исследования или нет — это скорее вопрос личных отношений собирателя и информанта. Я лично знаю исследователей, которые посыла-

ют некоторым своим информантам журналы или книги с публикацией записанных от них текстов, однако они делают это не из соображений этики, а в знак благодарности и в том случае, если с информантом сложились теплые человеческие отношения. В обязательности же этой практики я сомневаюсь, да и технически она трудно выполнима.

5

Активизация дискуссии вокруг проблем научной этики в последние годы обусловлена, на мой взгляд, тремя причинами. Первая связана с сегодняшней социокультурной ситуацией: для современного общества очень актуальна и широко обсуждается на всех уровнях проблема прав человека и их нарушения. Неэтичные методы работы вполне могут быть интерпретированы как ущемляющие права информанта и повлечь для исследователя негативные последствия юридического характера. Две другие причины вытекают из ситуации, сложившейся сегодня в антропологии, этнографии, фольклористике и ряде других гуманитарных наук. С одной стороны, за последнее десятилетие интересы исследователей повернулись в сторону современной традиции и не в последнюю очередь социальных практик (в том числе тех, которые могут затрагивать отношения внутри изучаемого сообщества; характерный пример чему — проводимые А.Н. Кушковой исследования деревенской ссоры). С другой стороны, можно говорить об определенном сокращении дистанции между исследователем и объектом исследования. Если раньше «поле» почти всегда воспринималось как «они» (жители [глухой] деревни, представители другого этноса, экзотической конфессии и т.д.), то сейчас все чаще изучаются традиции современного города, профессиональные, возрастные и прочие субкультуры; нередко информант и собиратель живут в одном городе, ходят по одним улицам и в любом случае являются носителями одного типа культуры. Это предполагает как то, что исследователю в этом случае проще представить себя на месте информанта, так и то, что у информанта может возникнуть интерес и, вероятно, техническая возможность ознакомиться с материалами исследования, в котором говорится и о нем тоже.

Еще раз повторюсь: обсуждаемые проблемы однозначного решения не имеют, по крайней мере, пока не существует регулирующего их документа, например корпоративного соглашения. Однако сложности в функционировании корпоративного соглашения, подобного западным, связаны и с известной разобщенностью научных центров на постсоветском пространстве, и с тем, что эффективность подобного рода соглашений опять-таки упирается во внутреннюю порядочность исследователей. Если собиратель, нарушив соглашение такого рода, осуществит скрытую запись, чем ему это будет

грозить: строгим выговором от заведующего кафедрой и общественным порицанием со стороны коллег? А может быть, тем, что результаты его исследования будут дезавуированы? Скорее всего, вряд ли, и такое корпоративное соглашение кого-то остановит от неэтичных методов работы, кого-то — нет. Поэтому наибольший эффект будет иметь вынесение этих проблем на юридический уровень, что, судя по происходящим в мире событиям, не так уж и невозможно.

ОЛЬГА БОЙЦОВА

1 Этнографические методы сбора данных сами по себе предоставляют практикующему их исследователю множество возможностей нарушения этики. Это совсем не трудно. Никто из информантов не станет узнавать в вашем институте тему вашего исследования, чтобы проверить легенду. Никто из них не начнет после вашего отъезда выписывать специализированные издания по этнографии или фольклористике, где ваш отчет может быть опубликован, и не отправится в отдел диссертаций РГБ, чтобы узнать, что же вы на самом деле написали. От коллег, с которыми мы часто спорим об этических проблемах, я иногда слышу, что я сама не использую скрытую запись только потому, что физически не могу это делать: мои городские информанты, в отличие от их деревенских, знают, что такое диктофон, они моложе и зрение у них лучше. На самом деле это не так: цифровой диктофон Olympus DS-10 очень похож на мобильный телефон, и когда он висит у меня на шее, никто из непосвященных не догадается, что ведется запись. Городская этнография предоставляет те же возможности нарушения этики, что и этнография традиционной сельской культуры.

Ольга Юрьевна

Бойцова

Музей антропологии
и этнографии им. Петра
Великого (Кунсткамера) РАН/
Европейский университет
в Санкт-Петербурге

Сделаю маленькое отступление о скрытой записи. На словах многие признают, что скрытая запись недопустима, но при этом многие же ее практикуют. Где-то здесь находится таинственный зазор между офици-

ально поддерживаемыми этическими положениями и компромиссами, на которые идет исследователь со своей совестью. Выставить магнитофон на стол, но не предупредить информанта о записи считается честнее, чем держать диктофон в кармане: заметит — заметит, не заметит — сам виноват. На этой лестнице множество ступенек, спускаясь по которым, каждый может сказать: «Но я по крайней мере не делаю так-то и так-то!».

Факт нарушения этики обычно невозможно проверить и (в нашей стране) он не имеет для исследователя никаких последствий. Эта легкость соблазнительна: проще без объяснений нажать на кнопку «REC», чем предупредить, что ведется запись с применением технических средств. Придется ведь объяснить, каких именно, а сельские информанты, по существующему среди исследователей представлению, не знают, что такое магнитофон. По другому распространенному представлению, они думают, что в магнитофоне сидит черт. Оба эти представления (хотя они и противоречат друг другу) приводятся моими коллегами в наших спорах для обоснования использования скрытой записи. При этом самих информантов уже давно никто не спрашивает, что они знают о магнитофоне.

Проблема в том, что антропологическое исследование изначально неэтично. Нарушение этики заложено в самом этнографическом методе. Этично ли, проводя включенное наблюдение, восемь часов в день участвовать в жизни сообщества, а потом, оставшись в одиночестве, два часа строчить в полевом дневнике, о существовании которого (как и о теме исследования) другие члены сообщества не подозревают, записывая все, что произошло, и все, что было сказано? Возможно, этот вопрос вызовет гораздо больше возмущения, чем предыдущее утверждение о недопустимости скрытой записи. Нет, я не посягаю на основной этнографический метод. Наверное, можно сказать, что без включенного наблюдения не будет этнографии как науки, и я не стану рубить сук, на котором сижу. Я тоже веду полевой дневник и не предупреждаю наблюдаемых о том, что я его веду. Я лишь хотела сказать, что этические проблемы возникают с самого начала занятий социальными науками.

Исследователи, идя на компромисс с совестью, исходят из предпосылки ценности научного знания. Подразумевается, что можно вводить информантов в заблуждение, если это пойдет на благо исследования. Легенда и наблюдение, о котором наблюдаемых не предупреждают, предназначены для того, чтобы сохранить объект исследования «в чистоте», создать для него условия, похожие на условия эксперимента, где все переменные находятся под контролем. Стоит ли эта «чистота» того,

чтобы нарушать полевую этику? Идеально «чистые» условия наблюдения в социальных науках все равно создать невозможно: фигура исследователя, даже если он скрывает, что он исследователь, будет присутствовать в поле зрения наблюдаемого объекта.

Отговоркой «на благо исследования» можно оправдать очень многое; раз начав, мы уже не сможем остановиться. Вводящая в заблуждение легенда? Ради науки. Скрытое наблюдение? Ради науки. Скрытая запись? Ради науки. Почему бы в таком случае не украсть у информанта тетрадку с молитвами или какой-нибудь предмет декоративно-прикладного искусства, пока он отвернулся, а то у него все равно пропадет, а нашей науке пригодится?

Но кто мы такие, чтобы решать, что в конечном итоге лучше: чтобы наша работа была написана или чтобы права наших информантов не были нарушены — высшая инстанция? Можем ли мы быть уверены в том, что наш информант заболел не оттого, что в диктофоне «сидел черт»?

Этнографу в любом случае приходится жертвовать своим нравственным чувством (своими человеческими отношениями, своей симпатией) ради научной истины, какой бы темой он ни занимался. Но, может быть, ему стоит постараться, вступая в эту сделку с совестью, не слишком дорого заплатить.

4

Ознакомление информантов с результатами исследования так же легко фальсифицировать, как и соблюдение этики в поле, так что этот вопрос тоже остается на совести исследователя. Если не прислать информанту журнал или не пригласить его на доклад, то он так никогда не узнает, что произошло с записанными от него текстами в процессе анализа и как было препарировано его интервью. Я практиковала приглашение информантов на свои доклады (чего могла бы не делать; это было такое же заигрывание с совестью, как и отказ от скрытой записи). Почти всегда это оканчивалось печально для меня: мои информанты, выслушав доклад, не соглашались с моей интерпретацией и обижались на сделанные обобщения. В фактах их (собственной, личной, непохожей ни на какую другую!) жизни я видела социальные явления, в том, что казалось им уникальным, я искала и находила общее. Я слушала их с досадой, и слабым утешением мне было то, что совесть моя чиста. Хотя она никогда не была совершенно чиста, потому что я ни разу не приглашала на доклады всех своих информантов — лишь выборочно. Она не была совершенно чиста и потому, что когда после докладов информанты высказывали мне свои претензии, я вежливо кивала головой, как будто соглашаясь — а выводы исследования оставляла без изменений.

5

К сожалению, я понимаю, что совершенно чистая совесть для антрополога недостижима и никто из нас не может быть честным до конца. Но я бы хотела попытаться хоть немного поднять планку честности. Этика полевых исследований нарушается во многих случаях, когда можно было бы этого не делать. Есть множество тем, по которым собирать информацию с помощью интервью ничуть не хуже — однако исследователи идут более легким путем, используя то, что в учебнике социологии называется «метод неформальной беседы», а на деле означает «мы сейчас с тобой поговорим как друзья, а потом я в одиночестве запишу все, что запомнил». Я бы хотела, чтобы во всех таких случаях исследователи обращались к интервью; чтобы во всех случаях, когда наблюдаемых можно предупредить о наблюдении, это было сделано; чтобы во всех случаях, когда тема исследования может быть названа, она была названа. Не нужно вырывать информацию силой или выманивать хитростью, если ее можно получить добровольно. То, что информанты сказали в вашем присутствии, не зная о дневнике наблюдений или о диктофоне, они могли бы сказать вам и под запись. Или не могли бы. Но если все-таки могли бы, то почему вы у них не спрашиваете?

Увы, мне не к чему апеллировать, кроме совести самих исследователей. В нашей стране нет инстанции, которая следила бы за соблюдением этики в социальных науках, или соответствующей письменной конвенции, а если бы они были, это, вероятно, не пошло бы социальным наукам на пользу ввиду легкости нарушения этики в поле и невозможности проверить факты такого нарушения.

Свою апелляцию к совести я могу подкрепить разве что ссылкой на категорический императив. Никто из нас не хочет оказаться на месте информанта, права которого мы нарушаем. Когда у меня появился диктофон, который позволял делать скрытую запись, мои коллеги бурно выражали свое возмущение тем, что у меня появилась возможность их (их! антропологов!) тайно записывать. Мне пришлось заверить их, что этой возможностью я никогда не воспользуюсь. Мои коллеги возражали против того, чтобы я на своих докладах показывала фотографии из семейных архивов своих друзей, которых они знали лично (даже если сами информанты давали согласие на показ своих фотографий во время презентации): мои коллеги ставили себя на место моих информантов, и им явно не хотелось, чтобы кто-нибудь показывал их фотографии на большом экране. Возможно, исследователь задумается, если предложить ему не делать другим того, что он не хотел бы, чтобы другие сделали ему.

ЕЛЕНА БОРЯК

1

Что касается моего личного опыта, то, безусловно, при проведении полевых исследований проблемы этического характера все более дают о себе знать.

Так, все чаще приходится сталкиваться с боязнью информанта называть свою фамилию, имя, отчество. Нередки случаи отказа говорить при включенном диктофоне. Очевидным становится настороженное отношение ко всякого рода распискам (эта тенденция ярко проявилась во время Чернобыльской экспедиции, когда переселенцы из Чернобыльской зоны с готовностью бесплатно отдавали свой домашний инвентарь в качестве экспонатов для будущего музея, но узнав, что при этом надо дать расписку, предпочитали свои «дары» забирать обратно — лишь бы нигде не расписываться).

Определенное внутреннее сопротивление у меня лично вызывали случаи интервьюирования моими коллегами подростков и особенно — детей. Моя осведомленность о том, что на Западе для проведения такого рода исследований требуется специальное разрешение, не давала мне покоя. Однако понимания своей позиции у коллег я не нашла.

Проблемы этического характера неожиданным образом дали о себе знать в декабре 2004 г., когда на Украине происходили выборы Президента. Во время бурных событий Оранжевой революции фольклористами были зафиксированы тексты откровенно эротического характера, с отборной бранью и жаргоизмами — они преимущественно воспроизводились в форме граффити и надписей на стенах домов, заборах, столбах, щитах, а также передавались устно. Их особенность состоит в том, что весь «пафос» был направлен исключительно против одного из претендентов. Насколько мне известно, моим коллегам пока не удалось опубликовать работы, где они могли бы цитиро-

Елена Александровна

Боряк

Институт искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Ф. Рильского НАН Украины

вать упомянутые памятники современного народного творчества. Попытки это сделать сдерживаются, в частности, и соображениями этического характера (к тому же, напомним, бывший кандидат на последних выборах получил в этом году большинство на выборах в украинский Парламент).

Очень тонкими, требующими особого такта и линии поведения являются полевые исследования, проводимые с представителями молодежных субкультур. Как мне представляется, до настоящего времени в этой сфере специальных рекомендаций не выработано.

2

По моему убеждению, главным критерием в организации любого рода исследований, — и полевые изыскания тут не являются исключением, — является защита *личности* как объекта исследований (еще выразительнее это звучит на английском языке — *human subjects* (буквально: *вопросы, связанные с человеком, с человеческим материалом*). Новейшая история защиты человека как объекта исследований берет свое начало от военного трибунала в Нюрнберге, когда человечество впервые было поставлено перед фактом проведения нацистами жестоких экспериментов над людьми и необходимостью квалифицировать эти действия во время судебного процесса.

Некоторые разработки были взяты как базовые при дальнейшей разработке принципов этического поведения во время разного рода исследований с «человеческим материалом». Первым и абсолютным условием провозглашалось добровольное согласие человека стать объектом исследования. Среди других положений — запрет на принуждение, признание категорий риска и выгоды и необходимости минимизации первого, профессионализм исследователей, право свободного выхода респондента из исследования. Подобные рекомендации были сделаны Мировой медицинской ассоциацией при подготовке декларации, которая готовилась в Хельсинки. Позже она получила название «Хельсинская Декларация: рекомендации для медицинских работников при проведении биомедицинских исследований, которые предполагают участие человека» («*Declaration of Helsinki: Recommendations Guiding Medical Doctors in Biomedical Research Involving Human Subjects*», Хельсинки, 1964; Токио, 1975, Венеция, 1983, Гонг Конг, 1989). Отмечу, что Декларация включала принципы проведения не только медицинских, но и немедицинских исследований.

Таким образом со временем было выработано три основополагающих принципа этического поведения исследователя: уважение к человеку, его защита от возможного ущерба и минимизация потерь вследствие исследовательской деятельности (баланс между вредом и пользой должен быть направлен

на позитив). Последнее требование предполагает, что исследователь должен привлечь наименьшее количество участников и поставить перед ними наименьшее количество вопросов — столько, сколько необходимо для гарантии корректности полученных результатов с научной точки зрения. Уважительное отношение к человеку предусматривало признание его *личного* достоинства и автономии, его статуса неприкосновенности. Соответственно, от исследователя требовалось получить от респондента его добровольное, осмысленное, сознательное разрешение на сотрудничество. Среди других требований — понимание информантом целей и задач исследования, возможных его последствий, право ставить вопросы на любом этапе работы. Непременным условием декларировалось право на *тайну* (англ. *privacy*), иными словами — «право самому определять то, что станет известным относительно тебя». Неприкосновенным считается право на конфиденциальность. Стандарты секретности (и анонимности) предусматривают контроль за доступом, а также распространением персональной информации.

Я остановилась на перечислении основных принципов этики полевых исследований, ставших нормой, с одной лишь целью — в мировом научном сообществе выработан, и уже в течение нескольких десятилетий апробирован механизм их соблюдения. Все эти позиции, с учетом последних наработок в данной области, могут быть уложены в некий Кодекс этики полевой работы — в качестве примера подобного нормативного документа, уже введенного в практику, могу привести Кодекс этики архивистов, принятый XIII-й сессией Генеральной ассамблеи Международного Совета архивов 6 сентября 1996 г.

Поэтому ответы на поставленные выше вопросы для меня однозначны.

3

Так исторически сложилось, что украинская этнография обращена к изучению исключительно своего (если не считать краткий во времени опыт 1920-х — начала 1930-х годов) культурного пространства. Следствием этого явилось расхожее мнение о его гармоничном, природном, адекватном восприятии исследователем.

В 20-е годы XX в., когда профессиональные этнологи устремились «в поле», наиболее эффективным был признан метод «включенного наблюдения» (среди его последователей назову хорошо известные имена украинских этнологов Нины Заглады, Людмилы Шевченко). Данный метод предполагал, что этнограф отправлялся «в поле», принимал участие во всех событиях, жил среди «аборигенов», наблюдая за ними, участвуя в их жизни и фиксируя ее детали. Опыт исследователя

был той призмой, сквозь которую преломлялся поток сведений о данной культуре. Именно опыт стал единственным аргументом и доказательством правильности наблюдений и понимания культуры. Со временем было указано на противоречивость термина «включенное наблюдение», и на его смену пришло иное определение метода как «опыта и интерпретации». В дальнейшем смысловая нагрузка переместилась на слово «интерпретация».

Что касается беспристрастности наблюдения при работе в поле, то этот вопрос был предметом серьезных раздумий наших предшественников, а именно той плеяды этнологов, которая свято верила (и активно эксплуатировала) метод «включенного наблюдения». В полевом дневнике Людмилы Шевченко найдем запись: *«По дороге жаловалась, что я не геолог, все таки легче с мертвым иметь дело, чем с живым — собрала какие хочешь камни, порылась в земле сколько хочешь, и пошла молча, а в людских душах легко не пороешься. Имеем ли мы право заглядывать и хозяйничать в тех душах?»* [Центральный государственный архив литературы и искусств Украины. Ф. 439. Оп. 1. Д. 21. Л. 19] и дальше: *«Всегда маску носить и быть шпионом, как я это делаю, тяжело»* [Там же. Д. 16. Л. 173] (1926). Мне представляется, что при длительном соприкосновении ученого с объектом своего исследования и, одновременно, — носителем информации, происходит взаимный, сложный по своей глубине и тонкости, разнообразный по масштабу процесс трансформации — как информанта, так и интервьюера. И конечный его результат все более зависит от субъективных причин — дисциплинированности ученого, его внутренней сдержанности, чувства меры и такта. Это же касается участия или неучастия исследователя в безнравственных акциях (вольное оно или невольное, в данном случае уже не имеет значения). Избежать подобных последствий призван тщательный профессиональный отбор исследователей, их глубокое, осознанное понимание своей миссии. Их деятельность должна быть регламентирована четкими нормативными правилами, выверенными как отечественным опытом, так и рекомендациями международного научного сообщества.

4

Отвечая на эти вопросы, я по-прежнему исхожу из основного принципа — защиты объекта исследований. Полагаю, что в случае, если обнародование частных сведений (и очевидно — их интерпретаций) может нанести какой-либо, даже минимальный ущерб «живому источнику», публиковать такие материалы нельзя. На мой взгляд, подобные коллизии могут быть предотвращены, если в Кодексе будут проработаны разрешительные условия публикации — анонимность, истечение определенного срока (к примеру, 20-ти лет), смерть инфор-

манта (как вариант — аннулирование запрета возможно спустя 3 года после его смерти с согласия родственников?). Я не думаю, что зашифровывание имен информантов может существенно изменить ситуацию. Этика исследователя проявляется также в последовательности, приверженности всем ее принципам, в основе которых — защита объекта исследований. Представляется, что научная и социальная значимость полученных сведений не должна довлеть над общепологающими этическими принципами. Понимаю, что этот тезис наиболее уязвим, однако настаиваю, что грань между *надо* и *можно* в подавляющем большинстве случаев трудно уловима и, соответственно, соблюдаема.

В идеале мне представляется, что информанты должны быть ознакомлены с результатами исследования, они должны подписывать специальные формы-расписки, в которых оговаривались бы авторские права, условия хранения записей, а также введения их в научный оборот. Я предвижу, что на начальном этапе подобное новшество значительно усложнит работу этнолога (фольклориста, а также в определенной мере — социолога) «в поле». Но при этом безусловно сделает ее цивилизованной (а не полуполюгальной и любительской, как это нередко происходит сейчас) и в определенной мере — неуязвимой с точки зрения этики исследования. Напомню, что для проведения археологических раскопок уже давно принятой формой является оформление разрешительной документации (если мне не изменяет память — Открытого листа). Думается, что оперирование живыми судьбами людей требует к себе не менее серьезного подхода.

- 5** Проблемы этического характера все более дают о себе знать. По моему мнению, это прежде всего связано с тем, что привычное для этнографа «поле» в лице его респондентов за последнее десятилетие резко поменялось. Открытость общества, его широкая информатизация, доступность и адресность информации делает потенциального респондента более вдумчивым, требовательным, внимательным. Изменился и сам исследователь — в его сознании безусловно произошла смена понятий — представление о «людности» (по Ф. Вовку); «народе», «массах», «населении» (именно такой подход мы увидим, к примеру, в вопроснике Людмилы Шевченко, подготовленном ею в 50-х гг. XX в.) как аморфном, индифферентном объекте исследования безвозвратно ушло в прошлое. Определенная «легкость» в подходах к проблеме этичного отношения к респонденту долгое время поддерживалась сугубо объективными причинами — для последних десятилетий была характерна «уступчивость» респондента, годами приобретенная готовность «по первому требованию» отвечать любому «чужаку»

на любые вопросы — в любом месте и любое время. Это ощущение незащищенности, полной открытости, более того — отсутствия каких-либо барьеров (в первую очередь — этических) на пути к «источнику» информации привело к тому, что проблема «личности» интервьюированного не то что не существовала, но скорее всего — не осмысливалась. Позволю себе утверждать, что следствием этого явилось в определенной мере потребительское отношение к информанту, когда этнологи более всего заботились о «чистоте эксперимента», добывании информации любым путем, и менее всего — о принципе защиты своего респондента, опасении не поставить его в унизительное, еще хуже — зависимое состояние. Мне все еще вспоминается село, жители которого прятались по домам при одном упоминании слова «экспедиция» — как оказалось, незадолго до этого здесь «практиковались» студенты местного филфака. Как пример могу привести факты пренебрежения просьбой (впрочем, иногда и требованием) информанта не использовать для записи диктофон. Знаю, что искушение включить техническое средство под столом (в сумке, под одеждой) удастся преодолеть не каждому. Впрочем, у меня есть и другие (к слову сказать — безусловно, более многочисленные) примеры, когда исследователь своим поведением, взвешенным, уважительным отношением к респонденту, достойным выполнением своего профессионального долга пусть по неписаным, но внутренне востребованным правилам, снимал все возможные вопросы и осложнения, которые мы обобщенно называем «этикой» полевой работы.

Разработка корпоративного соглашения по исследовательской этике, которое я условно назвала Кодексом этики полевой работы, безусловно, актуальна не только для российских, но и, конечно, украинских исследователей. Его эффективное функционирование не является бесспорным, однако не должно сдерживать его разработку. В науку приходят молодые ученые, для которых понятия законопослушности, легальности и цивилизованности являются приемлемыми, более того — необходимыми условиями их деятельности. Те, кто уже давно в «поле», на мой взгляд, получают необходимый, более того — давно ожидаемый инструментарий. Его эффективное внедрение и, соответственно, функционирование будет нелегкой, но вполне преодолимой задачей.

АЛЕКСАНДРА БРИЦЫНА

1

Вопрос об этических трудностях, испытанных в процессе полевой работы, сперва показался мне обращенным не совсем по адресу, ведь, работая преимущественно с народной прозой, я практически не сталкивалась с проблемами такого рода (кроме ситуаций записи и публикации «слухов и толков», а также быличек о ведьмах и т.п.). Однако уже фиксация причитаний в живом бытовании для меня оказалась чрезвычайно тяжелой не только в эмоциональном отношении, но и в первую очередь в плане этическом, когда даже само упоминание об исследовательском интересе и месте *службы* собирателя могло звучать кощунственно. Поэтому «человеческая доминанта» должна не просто присутствовать, но и исполнять регулирующую роль в работе фольклориста.

Между тем нужно признать, что в ряде случаев строгое соблюдение этических норм может противоречить плодотворному решению ряда исследовательских задач даже в такой, казалось бы, далекой от острых проблем и болевых точек общества сфере, как традиционная народная проза. Так, к примеру, запрет указывать или необходимость зашифровывать имя носителя невероятно усложнили бы исследование процесса трансмиссии традиционного знания и самих текстов от «учителя» к «ученику», текстологические сопоставления в границах той или иной исполнительской школы и т.д. А соблюдение просьбы самого исполнителя не фиксировать «плохо исполненный» текст во время припоминания может лишить науку очень ценных сведений об особенностях фольклорной трансмиссии, характере «памяти на текст» или ее отсутствии. Без таких фиксаций размышления на эту тему утрачивают всякий смысл. Как же быть в этих случаях? Думается, что однозначное решение, которое могло бы предложить определенное установление, вряд ли стало бы панацеей. Вместе с тем уважительное

Александра Юрьевна

Брицына

Институт искусствоведения,
фольклористики и этнологии
им. М.Ф. Рильского НАН Украины

отношение к рассказчику, как правило, подсказывает выход и позволяет получить согласие на фиксацию и даже публикацию такого текста.

2

Именно в свете сказанного выше представляется более правильным видеть в носителе информации коллегу, а не «объект» исследования, поэтому самое общее и доступное изложение своих целей, как мне кажется, необходимо, иное дело — мера и степень детализации. И если обман кажется недопустимым, то и объяснение всех частных не принесет пользы, а может лишь навредить. Эти достаточно банальные истины осмыслены лингвистической прагматикой, которая специально рассматривает коммуникативные тактики и стратегии, обыденным же сознанием это требование формулируется как необходимость поставить себя на место другого, и важно только не подменять при этом его интересы своими. Не имеет принципиального значения, как приходит к осознанию этого собиратель, но важно, чтобы он в первую очередь руководствовался требованиями морали. В любом случае, «не навреди» — заповедь, относящаяся не только к врачебной практике, поэтому в тех случаях, когда, например, разрешение на использование записывающей техники (пусть даже *post factum*) получить не удастся, пожертвовать следует интересами науки, а не человека, тем более что осознанный собирателем факт всегда может быть обнародован в иной, не менее приемлемой, форме. Если же пренебречь интересами носителя, то наша работа скорее станет походить на разведывательную акцию, чем на познание своего народа. И мне кажется, что это уже само по себе снизит значимость собранного материала. В реальности это означает лишь то, что собирание требует значительной предварительной подготовки, которая не только поможет усовершенствовать методику, но и придаст материалам максимальную информативность.

3

Думаю, что беспристрастие и безразличие — разные категории. Присутствие собирателя в фольклорной сфере всегда привносит изменения самого объекта приложения научного интереса. Известно много размышлений о «возмущающей» роли собирателя, который видоизменяет течение спонтанных процессов. К сожалению, очевидно, полностью устранить возникающую проблему невозможно, но необходимо, на мой взгляд, ее осознать и стараться максимально минимизировать «деструктивную» (в смысле изменения реального контекста бытования явлений фольклора) роль исследователя, тем более что это является настоятельной необходимостью и для получения достоверных данных. Вспомним, например, соображения К. Чистова о том, как по-разному звучит (и выстраивается!) текст былички, рассказанной по просьбе собирателя и бытующей спонтанно в среде односельчан. Для решения этой проблемы в первую оче-

редь необходимо формирование партнерского отношения к информантам, о чем уже шла речь. Представляется, что этический смысл этого соображения достаточно выразителен и не требует дополнительных разъяснений.

Однако существует аспект, выходящий за рамки сугубо научных проблем, именно в нем сконцентрирована сущность вопроса, как я понимаю. Конечно же, в конфликтных ситуациях, анализ которых нередко входит в сферу интересов антропологов, ведущими должны быть интересы людей, которым служит наука, а не наоборот. Профессиональный кодекс, как мне представляется, не может урегулировать такие тонкие материи, поэтому главным регулятором должна быть совесть и гражданская ответственность, а порой и мужество собирателя.

4

Апеллирую к собственному опыту, считаю более правильным обратиться к носителю за разрешением или попросту ознакомить его с публикуемыми материалами. Конечно же, это не гарантирует успех, потому что, как известно, собственный образ человека (образ-Я) и его оценка со стороны не всегда совпадают. Кроме того, обыкновенные люди, в отличие от «звезд», не всегда жаждут известности любой ценой, и я уверена, что это их право следует уважать. В то же время даже наличие законов, защищающих приватную жизнь публичных людей, далеко не всегда ограждает их от ранящего любопытства. Этнограф должен всегда ощущать свою ответственность. Вместе с тем каждому работавшему в поле совершенно очевидно, что мера осознания своих прав современными носителями минимальна, еще очень часто они видят в собирателе не просто гостя или вызывающего уважение своими знаниями человека. Порой они попросту не решаются отказать даже собирателю, ведущему себя явно бестактно, так как он для них олицетворяет «власть». Ситуация эта изменяется на глазах, вероятно, это свидетельствует о том, что такое поведение во многом является результатом тоталитарного прошлого, когда работа собирателей обязательно санкционировалась свыше.

Я бы рискнула затронуть и иной момент. Человеческие отношения, которые завязываются с людьми в процессе работы, нельзя игнорировать после ее завершения. Тысячами незримых нитей каждый из нас связан с теми, с кем работал, и это тоже ответственность, которой нельзя пренебрегать, даже если она всего лишь диктует необходимость поздравлять поделившихся с тобой своими знаниями людей с праздником. В своих повседневных заботах мы редко об этом задумываемся, но тот, кто хоть раз принес своим вниманием радость или, как это ни печально, причинил безразличием обиду информантам, уже не сможет оставаться безучастным.

Что касается зашифровывания информации о носителе, то думается, что традиционный паспорт «работает» в различных исследовательских ситуациях по-разному. Если в одних случаях важны сведения о личности, то в иных более существенными оказываются социальные, этнические, конфессиональные и иные характеристики. Это дает возможность исследователю проявить гибкость и не порождать конфликтных ситуаций.

5

Этические проблемы в украинской фольклористике традиционно были в поле зрения исследователей. Правда, они рассматривались в своеобразном ракурсе. Например, активно обсуждались вопросы оплаты за интервью (не только в денежной форме, но и в моральной, как сочувствие и соучастие — то, что вслед за Гнатом Танцюрой можно назвать платой «песней за песню») и неправомерности использования алкоголя для более легкого установления контакта. Эти, казалось бы, частные вопросы оказались существенными и для оценки качества собранных материалов. Например, И. Сенько отметил нарочитое удлинение текстов при оплате П. Линтуром работы сказочников.

Рискуя вызвать обвинения в банальности, позволю себе пунктирно обозначить некоторые вехи на пути осмысления этики собирательства. Эта проблема пришла на постсоветское пространство из западной фольклористики, или, во всяком случае, зазвучала в полную силу благодаря ей. Это совершенно закономерно, т.к. период империалистической экспансии был весьма продуктивен для культурно-антропологических изысканий. Интерес к «чужим» культурам, отдаленным не только географически, но и в языковом и духовном отношении, вывел на первый план проблемы взаимопонимания между собирателем и носителем, вопросы адекватной интерпретации этих культур (примеров неудач и поражений на этом пути несть числа). В восточно-славянской фольклористике ситуация была несколько иной, и, как точно подметил А.А. Панченко, ссылаясь на А.М. Эткинда, колонизация была направлена «внутрь», но это также актуализировало проблему взаимопонимания (в данном случае между представителями культуры «верхов» — фольклористы и «низов» — носители). Это даже вызвало многочисленные рефлексии на тему «инквизиторской» сущности антропологов.

Знаменательно, что данная проблема не изжита и до сих пор. В иной ипостаси она предстает в характерном противопоставлении фольклористов, выросших «на асфальте», воспитывавшимся в сельской традиции, а один из украинских фольклористов даже выразил это поэтическим иносказанием («Я не з коляски, я з колиски»). Поэтому проблема взаимопонимания

и «правильного поведения» остается актуальной. С этим непосредственно связано и другое соображение — чрезвычайная неспешность освобождения исследовательского сознания от тоталитарных стереотипов. Речь здесь идет даже не только и не столько о политике, а скорее об отношении к предмету исследования. К сожалению, очень широко (и особенно, как это ни странно, среди собирателей-«любителей», которые выросли в народной среде и работают достаточно активно) распространено утилитарное отношение к носителям. Мне порой приходилось быть свидетельницей слишком решительного, если не сказать неуважительного, обращения с собеседниками, которые не обладали необходимыми знаниями. Освобождаясь от груза «мессианства», общество освобождает от него и фольклористов, которые начинают осознавать проблемы, которые ранее их не занимали. Поэтому вопросы собирательской этики актуализируются совершенно закономерно. И тут уместно упомянуть о другой весьма примечательной тенденции современного гуманитарного знания — движении в сторону антропологизации ряда наук и антропоцентричности их взгляда на исследуемые явления. Для фольклористики это особенно актуально, и кроме методологических последствий этого движения, о которых здесь не место говорить подробно, важно еще и тем, что диктует необходимость совершенно иных форм взаимоотношений между собирателем и носителем фольклора. Особую актуальность этот вопрос приобретает при работе городских фольклористов в сельской среде. Исследователи (например, Т. Щепанская) неоднократно приводили примеры того, как их приезд порождает появление в традиционной среде своеобразного фольклора о том, каковы цели и задачи приехавших. Достижение взаимопонимания, таким образом, становится уже не только этической, но и научной проблемой.

Взаимообмен опытом между фольклористами гораздо более плодотворен, чем формальное исполнение обязательств. В силу этого принятие специальных рекомендаций и требований профессионального кодекса не представляется мне столь насущным. Вместе с тем он может стать подспорьем в поиске правильного решения. Однако в любом случае следует руководствоваться прежде всего нравственным убеждением. Поэтому столь своевременным представляется широкое обсуждение этих проблем научным сообществом, как это и предложено в данном случае редакция. Особый резон состоит, на наш взгляд, также в том, что порой те или иные этические промахи мы можем допускать вовсе не по злему умыслу или небрежению интересами носителя, а попросту вследствие недостаточного знания особенностей традиционной жизни и психологии конкретной среды.

МАРКУС БЭНКС

Антропология и этика

Введение

В британской антропологии вопросы этической и моральной стороны исследований поднимались задолго до Второй мировой войны — в номере *Notes and Queries* за 1929 г. содержится, например, призыв к исследователям уважать верования тех, кого они изучают. Однако серьезное обсуждение этических вопросов этой научной дисциплины началось лишь в 1960-е гг. В 1967 г. Американская Антропологическая Ассоциация (ААА) выпустила «Декларацию о проблемах этики в антропологических исследованиях», а в 1971 г. — заявление о «Принципах профессиональной ответственности»¹. Ассоциации социальных антропологов Соединенного Королевства и стран Содружества понадобилось почти два десятилетия, чтобы последовать этому примеру — ее «Рекомендации по вопросам этики» вышли в 1987 г.² Впрочем, они были созданы по образцу исправленных деклараций ААА — считается, что до 1987 г. британские антропологи ориентировались на документы, принятые ААА.

Последние десятилетия выявили две важные проблемы. Во-первых, обсуждение этических вопросов в рамках антропологических исследований идет вслед за возникающими проблемами, а не предупреждает их. Во-вторых, правовая сторона этических норм поведения плохо сочетается с этическим духом самой научной дисциплины. Что касается первого вопроса, то периодически возникают ситуации, когда отдельных антропологов или группы исследователей обвиняют в неэтичном поведении — в результате пересматриваются и переписываются существующие этические кодексы³. Однако

Маркус Бэнкс
(Marcus Banks)
Оксфордский университет,
Великобритания

¹ См.: <www.aaanet.org/committees/ethics/ethics.htm>.

² См.: <www.theasa.org/ethics.htm>.

³ Об этом недавнем «скандале» см.: [Fluehr-Lobban 2004].

сейчас на первый план вышла вторая проблема, и попытки ее решения могут в конечном счете оказаться более продуктивными, чем прежние пожарные меры¹. Поскольку область занятий нашей науки по определению связана с «социальным», нет — или во всяком случае не должно быть — различий между личными и профессиональными нравственными правилами, которыми руководствуется антрополог. Следовательно, жесткое следование некоей норме в профессиональной жизни — в особенности если эта норма в первую очередь ориентирована на то, чтобы предупредить возможное юридическое деяние — приводит к дегуманизации не только самого антрополога, но и объекта его/ее исследования. Конечно, то же самое можно сказать о многих других отраслях науки, однако в силу самой природы этнографического исследования социальный антрополог едва ли может определить с абсолютной точностью, какие из его «полевых» действий считаются «исследованием» (и, следовательно, ограничиваются рамками некоей этической нормы), а какие нет. Именно поэтому многие антропологи, пытаясь применять в своей работе этические нормы, основанные на правилах, выработанных в первую очередь для медицинских исследований, сталкиваются со значительными трудностями. В медицинских контекстах сфера исследовательской деятельности и, в частности, ее потенциально наиболее опасные элементы (как, например, непредвиденные побочные эффекты при использовании наркотических средств) определены с большой четкостью. По завершении исследования его участники не подвергаются никакому риску². При обработке полученные у них сведения становятся анонимными и обрабатываются, так что даже если впоследствии личность участника исследования может быть установлена, в подавляющем большинстве случаев это практически не может причинить ему/ей ни малейшего ущерба. Социальные, и в особенности антропологические, исследования — совсем другое дело. Сама исследовательская «деятельность» (например, ведение беседы) чаще всего не несет в себе практически никакого риска. Этические и моральные проблемы возникают на следующих этапах, при публикации и распространении собранных материалов. Публикации (в том числе фильмы и фотографии — см. об этом ниже) могут нанести вред или причинить боль отдельным людям, однако еще сложнее обстоит дело в тех случаях, когда

¹ Среди важных предложений в этой области — выступления за «включенную (embedded)» этику [Meskell and Pels 2005] и «интерактивную» этику [Harper and Corsín Jiménez 2005], в обоих подчеркивается важность этнографического понимания того контекста, в котором происходит этнографически ориентированный разговор.

² Важное исключение — скандалы 1990-х годов с «оставленными органами», когда выяснилось, что некоторые британские больницы оставляли органы умерших детей (а также ткани плодов) для исследования без разрешения родителей.

дело касается целого корпуса исследований — например, антропологических работ, посвященных «примитивному обществу» конца XIX в. — который создает и насаждает определенные стереотипы и может тем самым нанести вред и причинить боль безымянным миллионам людей.

Очевидно, стремительный рост числа комиссий по этическим проблемам, обращение к модели, принятой в медицинских исследованиях, и угрозы судебных тяжб свидетельствуют о том, что включенный (embedded) или контекстуальный подход к антропологической этике никогда не получит точного формализованного выражения, которое удовлетворило бы университетские власти и грантодающие организации. Следовательно, сталкиваясь с «универсальными» вопросами, касающимися, например, «информированного согласия» (какой объем информации считать достаточным?) или «психологического ущерба» (как оценить душевное здоровье другого человека?), социальные антропологи по-прежнему будут действовать на свой страх и риск. Именно в этом контексте я предлагаю рассматривать мои ответы на следующие два вопроса.

В Оксфордском университете нет свода этических норм как такового. Комиссия, надзирающая за организацией вопросов этики исследований, руководствуется краткой «декларацией принятых правил», в которой, в частности, говорится: «Университет Оксфорда заявляет о своей приверженности тому, чтобы *исследовательская деятельность*, в которую вовлечены *участники-люди*, осуществлялась с уважением достоинства, прав и благополучия участников, с минимальным риском для участников, *исследователей* и третьих сторон, и преследовала цель *общественного блага*» (в специальном словаре дается определение выделенных курсивом терминов, а также ряда других, используемых в этом документе). Предполагается, что исследователи руководствуются гораздо более детальными сводами этических правил, принятыми в тех профессиональных организациях, к которым они принадлежат, и в соответствующих учредительных советах — отчасти именно поэтому процитированный документ так краток.

Однако в предварительном опроснике (называемом CUREC/1), который перед началом работы приходится заполнять всем, кто занимается исследованиями в университете (сотрудникам и студентам), содержится подразумеваемый «свод норм». Некоторые из вопросов относятся к био-медицинской области (например, «*Предполагает ли исследование какие-либо изменения в нормальной жизни участника — в режиме сна, приема пищи или воды ?*») — подобные вопросы обычно не релевантны для исследований социальных антропологов. Однако есть и более реле-

вантные: «Сделаны ли необходимые приготовления к тому, чтобы получить у участников письменное информированное согласие?», или «Вовлечены ли в исследование участники-люди, чья способность дать свободное и информированное согласие является проблематичной?». Такие вопросы наиболее трудны для социальных антропологов по причинам, о которых шла речь во введении. Если исследователь ответит на эти вопросы, соответственно, «нет» и «да», ему скорее всего придется заполнить гораздо более длинный и подробный опросный лист (CUREC/2). Например, по теме письменного информированного согласия последовательность вопросов в CUREC/2 такова: «(а) Будете ли вы получать письменное согласие? Да — пожалуйста, приложите соответствующую форму. Нет — объясните, каким образом будет получено и зафиксировано согласие и почему используется именно этот метод. (б) Если участники не способны дать должное согласие, от кого и каким образом вы получите согласие? (в) Приведите список исследователей, которые, с разрешения руководителя исследования, будут обеспечивать получение согласия участников».

Для того, чтобы облегчить непростую задачу, стоящую как перед исследователям, так и перед оценочной комиссией, Университет разрешает кафедрам и отделам создавать специальные протоколы, объясняющие исследователям, как им следует действовать в тех случаях, когда заложенные в опроснике нормы — например, получение письменного информированного согласия — не могут быть соблюдены. Эти протоколы также могут включать в себя образцы документов, например формы писем для раздачи участникам исследования с объяснением смысла и хода исследования, которые могут быть адаптированы для целей индивидуальных проектов. Если протокол принят оценочной комиссией, исследователь, заполняющий краткую форму CUREC/1, может на него сослаться и таким образом избежать необходимости заполнять гораздо более подробную форму CUREC/2. Заполненная форма(-ы) с отсылкой, если необходимо, к соответствующему протоколу, поступают в оценочную комиссию, которая рассматривает заявку и либо дает свое согласие, либо возвращает проект для доработки.

Для Университета Оксфорда этическая экспертиза пока слишком новое явление, чтобы можно было оценить приносимую ею пользу и отношение к ней. Отдельные истории из опыта других британских антропологов свидетельствуют о том, что оксфордские процедуры относительно просты. Впрочем, на основании тех же историй можно сделать два вывода. Во-первых, если очевидно, что исследование не связано с группами людей, которые по евро-американским стандартам счита-

ются наиболее уязвимыми — чаще всего это дети или умственно неполноценные, и если, кроме того, объекты исследования проживают вдалеке от Европы и Америки, комиссии менее придирчивы, чем когда дело касается людей из числа местного населения. Это утверждение может показаться верхом цинизма, однако я опираюсь на ответы коллег из других институтов, чьи заявки были возвращены для доработки — в большинстве случаев это были проекты, связанные с исследованием жителей Соединенного Королевства. Второй вывод заключается в том, что некоторые социальные антропологи воспринимают предложения этической экспертизы в штыки. Представители нашей науки, в особенности в первые десятилетия своего существования, культивировали исследовательскую позицию «одинокого волка», т.е. яростно отстаивали абсолютную личную независимость каждого антрополога. Даже сегодня для многих антропологов мысль о том, что какая-то комиссия, составленная из (чаще всего) неантропологов, будет выносить оценку этической составляющей исследования, касающегося людей, о которых члены комиссии скорее всего не имеют ни малейшего представления, представляется прямым покушением на их интеллектуальную автономию.

Впрочем, другие антропологи — особенно студенты — называют эту процедуру полезной. Несмотря на то, что, как уже говорилось во введении, на вопрос, сформулированный в рамках нормативной этической системы, редко можно дать определенный ответ, само размышление над подобными вопросами направляет внимание антрополога к этической стороне исследования и позволяет заранее предусмотреть ситуации, с которыми он может столкнуться.

Ответ на вопрос о балансе между презумпцией открытости информации и уважением к частной жизни информантов в большой степени зависит от того, кто именно является объектом исследования. Многие антропологи свидетельствуют, что, в противовес обычной практики анонимизации, многим информантам льстит публичное внимание, они настойчиво требуют точного указания их имени, названия города или деревни. Кроме того, анонимность трудно соблюсти в тех случаях, когда исследователь работает с группой населения, которую выделяет некая свойственная ей уникальная или специфическая черта. К примеру, мое первое этнографическое исследование было отчасти связано с одним религиозным общинным центром на территории Соединенного Королевства. Поскольку такой центр в Соединенном Королевстве всего один, невозможно было скрыть его местоположение и, хотя упоминая конкретных людей, я прибегал к псевдонимам, они несомненно были узнаваемы как для членов общины, так, и, возможно,

для посторонних. С другой стороны, насколько мне известно, ничто из того, что я предал гласности, не причинило беспокойства ни конкретным людям, ни этой группе в целом.

Визуальные антропологи и другие исследователи в этой области, прибегающие к фото, видео или киносъемке, предназначенной для распространения, издавна сталкиваются со специфическими этическими вопросами. Если речь идет о фотографиях, существует опасность, что образ будет вырван из своего антропологического контекста — в случае, например, если изображение выкладывается в Интернете — и попадет в новые контексты, навязанные его потребителями. Люди, которым их собственный образ жизни кажется совершенно обычным — и со временем начинает представляться таковым антропологу, работающему с ними и делающему фотографии — может восприниматься не-антропологами как воплощение примитивной дикости: охота с луком и стрелами, ношение минимальной одежды или полный отказ от нее, и так далее.

Впрочем, в первую очередь конфликт с нормативным подходом к исследовательской этике вызывается невозможностью анонимизации. Приведу два примера, иллюстрирующие различие в нормативном и контекстуальном подходах к этике¹. Первый случай произошел с одним моим коллегой, молодым кинодокументалистом, который несколько лет назад снял фильм об одном британском пенитенциарном заведении для несовершеннолетних правонарушителей. Всем мальчикам задали вопрос, хотят ли они принимать участие в съемках, и, если да, то попросили их подписать разрешительную форму. Все, за одним или двумя исключениями, охотно изъявили согласие и даже, кажется, наслаждались тем, что оказались в центре внимания. Через несколько лет после того, как фильм был закончен, к моему другу обратилась одна телевизионная компания, желавшая показать этот фильм. Хотя подписанные мальчиками разрешения продолжали иметь юридическую силу, мой друг нашел главных героев фильма и сообщил им о возможности показа фильма по телевидению. Согласились все, кроме одного — этот молодой человек после освобождения начал новую жизнь и теперь был женат, у него родился ребенок. Жена и коллеги по работе не знали о его криминальном прошлом и он не хотел никаких изменений. Хотя мой коллега точно следовал этическим кодексам того времени, ему пришлось признать, что они не учитывают изменений контекста. Поэтому он отклонил предложение о показе фильма по телевидению.

¹ Подробное изложение первого случая в более широком контексте можно найти в: [Banks 2001].

Второй случай произошел, когда я работал над этнографическим фильмом в Индии. В какой-то момент в процессе съемок главный герой рассказал о (платонических) отношениях, которые когда-то связывали его с женщиной, принадлежавшей к другой религиозной общине. Они хотели пожениться, но родственники высказались против и ту женщину быстро выдали замуж за мужчину из ее собственной общины. Рассказав эту историю на камеру, мой информант — с которым я был знаком уже много лет и который знал, что результаты моего исследования будут прочитаны и увидены другими — понял, что так идентичность женщины может быть раскрыта и это, возможно, причинит ей неприятности. Обсудив вместе эту проблему, мы пришли к выводу, что избавимся от опасности, просто стерев ее имя со звуковой дорожки. Мой информант сказал, что его собственной репутации в среде местной общины рассказ повредить не может, а ни один зритель за пределами этого узкого социального круга не догадается, о ком идет речь. Естественно, я не планировал заранее эту ситуацию, однако благодаря ей я ретроспективно осознал важность этического решения, привязанного к конкретному контексту, причем все вращалось вокруг способности участников полноценно понимать характер функционирования используемого медийного средства (кинофильм, опубликованный текст и проч.) и предвидеть возможные последствия.

Пер. с англ. Марии Маликовой

Библиография

- Banks M.* 'Forty-Minute Fieldwork' // *JASO (Journal of the Anthropological Society of Oxford)*. 1988. Vol. 19. P. 251–263.
- Banks M.* *Visual Methods in Social Research*. London, 2001.
- Fluehr-Lobban C.* 'Darkness in El Dorado: Research Ethics, Then and Now' // *Fluehr-Lobban C. (ed.) Ethics and the Profession of Anthropology: Dialogue for an Ethically Conscious Practice*. Walnut Creek, 2004.
- Harper Ian and Alberto Corsín Jiménez.* 'Towards Interactive Professional Ethics' // *Anthropology Today*. 2005. Vol. 21. No. 6. P. 10–12.
- Meskill L., Pels P. (eds).* *Embedding Ethics*. Oxford, 2005.

ЗИНАИДА ВАСИЛЬЕВА

1

В коридорах Европейского университета мне неоднократно приходилось обсуждать тему этики исследования со своими коллегами, и всякий раз я убеждалась в том, что мало у кого есть строгие этические принципы полевой работы (я не исключение). Это вполне понятно, учитывая сложность и специфичность каждого конкретного «поля»/случая/опыта исследователя. Однако это же подтверждает актуальность публичного обсуждения проблемы этики полевых методов, ибо проблема существует.

Главный смысл этой дискуссии я вижу в том, чтобы проблематизировать саму тему исследовательской этики в контексте российской антропологии/этнографии. Предвижу возражения опытных полевикув, что, мол, каждый для себя уже все давно решил. Возможно. Хорошо, если так. Я только пытаюсь акцентировать внимание на том, что практика полевого исследования, которая неизбежно рутинизируется, превращается в будни антрополога/этнографа, не должна становиться неproblemатичной в отношении вопросов этики. Важно, чтобы исследователь (молодой или уже опытный) каждый раз задумывался о том, в какой мере он честен перед своими информантами (людьми, которые простодушно и в большинстве случаев безвозмездно помогают ему в работе), а также перед своими коллегами по цеху.

Позволю себе небольшое лирическое автобиографическое отступление.

Обучаясь на первом курсе исторического факультета университета, я впервые обнаружила, что ученый является хирургом, препарирующим действительность. Причем наиболее профессиональный ученый делает это наиболее цинично. Как врач. Работа такая. Тогда меня этот простой факт, признаюсь, шокировал. Особенно шокировало то, что историки, которые (как мне тогда казалось!)

**Зинаида Сергеевна
Васильева**
Европейский университет
в Санкт-Петербурге

становятся экспертами в области логики развития событий, способными к прогнозированию, не должны вмешиваться в естественный ход вещей. (Впрочем, есть историки, которые считают своей профессиональной задачей выносить моральные суждения.) Наивный идеализм подсказывал мне, что гуманитарные науки, т.е. науки, изучающие человека, должны помогать человеку, а иначе зачем? Через некоторое время еще более удивительным открытием (столь же очевидного факта) стало то, что стремление к знаниям, к информации может превращаться в страсть, иногда болезненную. Я размышляла о том, чем можно (и можно ли вообще) поступаться ради удовлетворения собственного любопытства или, точнее, «исследовательского интереса». Тогда я пришла к выводу: «чистая» наука (знать для того, чтобы знать) безнравственна. И тут же сформулировала для себя оправдательный аргумент: я делаю это, потому что мне это интересно. Этого, казалось, достаточно.

Через некоторое время я стала заниматься социологией во Французском колледже при СПбГУ. Программой курса была предусмотрена полевая практика в Смоленске. Вдвоем с напарницей мы исследовали духовную семинарию и духовное училище Смоленска — структуру институций и их роль в жизни города (впрочем, тема не была сформулирована строго, поэтому мы спрашивали «обо всем»).

Мы брали интервью у преподавателей и студентов. Особенно «хорошими» информантами — разговорчивыми, искренними, доброжелательными — оказались воспитанницы духовного училища. Очень отчетливо было понятно, что девочки видели в нас своих ровесниц, только из большого города, из какой-то другой интересной жизни. Им хотелось с нами общаться, хотелось узнать, как там у нас — в Петербурге, и поделиться своими насущными, но тысячу раз обсужденными проблемами. Они были вполне искренни, быстро забывали о том, что у нас в руках включенный диктофон. А иногда (особенно если хотели рассказать о каких-то случаях нарушений правил в училище или семинарии) вспоминали об этом и просили выключить. Очень много информации о неформальной жизни училища мы получили именно таким образом. Конечно, обо всех разговорах мы делали записи в полевом дневнике. Я подчеркиваю это, поскольку незаписанные на диктофон голоса могут отлично звучать со страниц полевого дневника. Все, что рассказано без диктофона, «по секрету», тем не менее сохраняется в памяти исследователя, а использование этой личной информации остается на совести собирателя.

Уже там, в Смоленске, мне стало совершенно ясно, что использовать всю эту информацию, например, для написания

отчета, я не могу. В этом было бы что-то неприличное и даже в каком-то смысле предательское. В то же время очень хотелось рассказать об этой — другой стороне. В общем, мы много думали и разговаривали об этом с напарницей и... переформулировали нашу тему таким образом, чтобы в отчете максимально не использовать личные откровения наших информантов. Это решение во многом было продиктовано юношеским максимализмом, неспособностью абстрагироваться от объекта исследования и вследствие этого — какой-то солидарностью с нашими информантами. И тем не менее это было наше решение, результат раздумий, сознательный выбор.

Занимаясь древностью, я ловила себя на том, что получаю удовольствие от «разоблачения», например, если мне удавалось найти и понять происхождение ошибки в тексте того или иного автора, мне было его «не жалко». Совсем другие чувства я испытываю, когда беру интервью, т.е. слушаю истории о судьбах реальных живых людей, истории, которые вызывают у самих рассказчиков настоящие смех или слезы. Даже если мысленно я препарировую рассказ, все равно я сочувствую и сопереживаю своим информантам, вижу за их словами — судьбы. Возможно, мое отношение чересчур сентиментально и ненаучно, но мне кажется, что именно личное переживание, связанное с полевым исследованием, может оправдать «вторжение» в это поле. Для меня антропология — наука в высшей степени гуманитарная (т.е. обращенная к человеку, к отдельной личности). Коротко говоря, если принять метафору хирургической практики применительно к науке, важно помнить, что антрополог/этнограф, в отличие, скажем, от историка античности, «режет по живому», «без наркоза». И это налагает на него большую ответственность. И важно всякий раз соотносить свои действия с принципом «не навреди».

4

5

В европейской и американской науке большое внимание к проблеме этики проведения полевых исследований связано с постколониальным переживанием. По мнению Д'Анраде, это переживание и, как следствие, отказ видеть в информантах только «источник знаний», а также признание в них «живых людей» привели к коренному преобразованию направленности антропологии как науки: *«Антропология, которая прежде базировалась на объективной модели мира, теперь стала основываться на этической модели мира» (anthropology be transformed from a discipline made based upon an objective model of the world to a discipline based upon a moral model of the world)* [D'Andrade 1995: 399].

В отечественной науке эта тема все еще не осознается как болезненная, поскольку российский колониализм традиционно интерпретируется как «расширение границ», а не как «захват и

порабощение несчастных туземцев». В России легко и удобно работать, поскольку наш объект/источник/информант пассивен. Как правило, он не задумывается о том, что его права (права человека!) могут быть нарушены, а зачастую и о том, что этими правами он обладает. Даже если во время интервью кто-то вдруг спросит, а куда, собственно, пойдет эта (собранная у него) информация, обычно достаточно нескольких фраз, сказанных уверенным голосом, для того чтобы успокоить человека и заверить его словами об анонимности и конфиденциальности.

Между тем понятие анонимности весьма относительно. Вспоминается такой случай из практики. Я работала в проекте в качестве интервьюера (не исследователя). Перед каждым интервью от имени исследовательской группы я декларировала анонимность информации и проч. Через некоторое время выяснилось, что в статье, опубликованной по результатам проекта, были приведены некоторые данные об одном информанте, без труда позволяющие определить, о ком идет речь. Нет, конечно, там не было имени и фамилии. Стандартные обозначения содержали краткие сведения — пол и год рождения, однако в тексте статьи фигурировали также род деятельности, название фирмы (весьма крупной!), в которой работает информант, и занимаемая им должность (тоже весьма заметная, что важно, поскольку облегчает возможность идентификации). Также из текста можно было узнать об уровне его доходов. Т.е. при соблюдении формальной анонимности, фактически узнать человека было легко. Несмотря на то, что никакой ответственности за публикацию я не несла, мне было неприятно осознавать, что данные мною, моим голосом, пусть даже и от имени группы, обещания и гарантии оказались невыполненными. Ситуация интервью — личная. Интервьюер общается с информантом как человек с человеком, и мне было стыдно, как если бы это я нарушила данное обещание.

Для обсуждения темы этики полевых исследований очень удобным мне представляется использование понятий, выработанных в рамках философии политики — этика закона и этика добродетели.

Этика закона подразумевает, во-первых, выработку определенного набора четко сформулированных предписаний, имеющих однозначное толкование, во-вторых, декларирует всеобщее равенство перед этими законами и обязательность их выполнения. Этика закона, с одной стороны, максимально упрощает задачу поддержания социального порядка, позволяя быстро обнаруживать правых и виноватых, с другой стороны — бесчеловечна и негибка, поскольку не способна принять во внимание всю сложность каждого отдельного случая.

Этика добродетели основывается на стремлении понять каждую конкретную ситуацию, войти в положение каждой личности и принимать решения только исходя из всей суммы условий.

В отечественной культуре (в том числе исследовательской) приоритет традиционно отдается второму суждению об этике. Однако внешняя привлекательность такого «понимающего» подхода часто чревата множеством возможных толкований, в зависимости от того, какие исходные условия мы сочтем более важными, а какие — менее. Иначе говоря, вместо «понимающего» закона оказывается «закон, что дышло», или по-другому: «нельзя, но если очень хочется/очень нужно, то можно».

Можно ли формализовать этические правила полевого исследования, и нужно ли это делать? Думаю, все, что относится к сфере нравственного (в т.ч. этика), формализации поддается с трудом. Помимо довольно простых требований, как, например, не вести скрытую аудиозапись, в полевой работе возникает гораздо больше ситуаций, которые сложно оценивать однозначно. Например, что делать, если информант «проговорился», рассказал под диктофон больше, чем хотел, и из-за этого расстроился? (Кстати, такая ситуация вполне возможна даже в том случае, если информант подписал контракт и письменно согласился публиковать информацию из интервью.) Более того, молодые информанты, близкие по возрасту, могут довериться вам и во время интервью разговаривать с вами как с другом или, наоборот, попутчиком, которому можно излить свою душу. Интервью может стать чем-то вроде исповеди. Должны ли мы хранить эту тайну? Ответить на подобные вопросы вряд ли поможет простой список правил. Работа антрополога/этнографа — это, прежде всего, часть жизни человека, избравшего своей профессией антропологию/этнографию. И так же, как в жизни он принимает решения и (в идеале) несет за них ответственность, в работе — полевой и исследовательской — он отвечает за каждое свое действие — будь то интервью, обсуждение материалов или публикация. В каждой ситуации исследователь делает свой нравственный выбор и несет за него ответственность.

Тем не менее, на мой взгляд, в создании корпоративных соглашений есть определенный смысл. Приведу параллель из области археологии. «Черными археологами» называют людей, проводящих раскопки без официального разрешения — открытого листа — и, как правило (хотя и не всегда), не следующих принятым методикам ведения раскопок, иначе говоря, копающих варварским способом, не заботясь о сохранности памятника как цельного культурного комплекса. Целью таких раскопок является поиск дорогостоящих предме-

тов, проще говоря — нажива. Подчеркну, что среди «черных археологов» далеко не все — дилетанты-кладоискатели. Многие из них «выросли» в каких-то официальных экспедициях, а некоторые даже имеют специальное образование.

В археологическом научном сообществе отношение к «черным археологам» неоднозначное. Одни просто считают их вандалами, другие признают их растущий профессионализм и даже ищут пути сотрудничества (например, на юге, где масштаб несанкционированных раскопок столь велик, что отсутствие какого бы то ни было контакта с «черными археологами» приводит к ускользанию большого числа находок из научного оборота, т.е. вещи не только не поступают в музеи, но даже сам факт их обнаружения остается тайной).

И все же в основном ученые оценивают деятельность «черных археологов» негативно. Однако это отношение мало влияет на ситуацию, поскольку контролировать проведение неофициальных раскопок оказывается для государства задачей трудной, а между тем недра земли по-прежнему хранят ценные в материальном отношении, а потому привлекательные вещи.

В отличие от археологии, материалы нашей науки не часто сулят большие прибыли, а потому и проблема «черной этнографии» пока не актуальна. Между тем использование «нечистоплотных» методов в полевой этнографии является, на мой взгляд, хорошей аналогией «черной археологии». Забота со стороны научного сообщества о соблюдении этических правил полевого исследования и, возможно, составление соответствующих документов, могли бы обозначить контуры «белой»/этичной/честной антропологии. Т.е. определенное давление со стороны научного сообщества могло бы поставить «нарушителя» вне закона. Я вовсе не хочу делить исследователей на «черных» и «белых», «честных» и «нечестных». Речь о другом. В какой-то мере вопрос этики исследования есть вопрос методический, и я лишь хочу подчеркнуть роль научного сообщества в определении того, что считать корректными, а что некорректными методами. Если коллеги по цеху достигнут хотя бы некоторого согласия относительно методов исследования (под словом «методы» я очевидным образом скрываю «этичность методов») и сформулируют корпоративное соглашение по данному вопросу, тогда, наверное, можно будет говорить об определенном поведении исследователя как о проявлении непрофессионализма.

Библиография

D'Andrade R. Moral Models in Anthropology // Current Anthropology. 1995. Vol. 36. No. 3. P. 399–408.

ВИКТОР ВОРОНКОВ

1 Безусловно наиболее значимой этической проблемой социального исследования является, на мой взгляд, отношение исследователя к информанту. Понимающая социология носит гуманистический характер, а потому информант воспринимается исследователем не как источник данных, а как равноправный партнер. Исследователь в своей полевой работе должен исходить из того же принципа, что и врач, — «не навреди!». Если результаты исследования — особенно их публикация — способны нанести последствия хотя бы малейший ущерб информантам, то социолог (в широком смысле социология включает в себя большую часть социальных наук, в том числе, разумеется, антропологию) обязан в необходимой мере анонимизировать источники сведений, а иногда — как это ни прискорбно — отказаться от публикации некоторых результатов.

2 Социолог всегда (я это подчеркиваю!) приходит в исследуемое сообщество как социолог. Вспоминаю историю исследования одной американской правозащитной организации. Молодой исследователь (а, как правило, все лучшие исследования проводятся молодыми аспирантами, ибо заслуженному ученому некогда пропадать в поле и он предпочитает работать за письменным столом) получил грант и после первого этапа исследования сделал блестящий доклад. Слушатели были заинтригованы тем, насколько много ему удалось узнать об объекте, который для других исследователей обычно недоступен. Докладчик объяснил, что доступ к полю он обеспечил тем, что скрыл цель своего прихода в организацию. Напротив, он сказал, что разделяет ценности этой организации и хотел бы стать «своим». Как реагировало на это профессиональное сообщество? Финансирование последующей работы было немедленно прекращено! Нарушение профессионального этического кодекса не осталось безнаказанным.

**Виктор Михайлович
Воронков**
Центр независимых
социологических исследований,
Санкт-Петербург

Думаю, что проблема здесь не только нравственная. Конечно, обманывать нехорошо. И нарушение писаных норм профессиональной ассоциации тоже может повлечь за собой неприязни. Но и рассуждая прагматически, вполне понятно, что «тайное всегда становится явным». Трудно представить, что интеллигентный человек, который — громоздя заведомую ложь — пытается всегда сводить концы с концами, не проколется в какой-то момент. И тогда прощай месяцы упорного труда по достижению доступа в поле и налаживанию дружбы с информантами. Столь тщательно выстраиваемое здание исследования рушится в одночасье. Как следствие, поле становится позже недоступным и для других исследователей, поскольку доверие со стороны этих людей разрушено навсегда. Помимо этого резона, хочу напомнить, что любой исследователь переживает ролевой конфликт: с одной стороны, он наблюдатель, с другой, — человек. Решение конфликта заключается в том, что социолог честно сообщает другим о своей роли исследователя.

Другой вопрос, какую «легенду» излагает исследователь при налаживании доступа к полю. Я придерживаюсь мнения, что и здесь врать не стоит. Однако легенда должна быть максимально упрощена и понятна. Самым подходящим в этом случае объяснением может быть «пишу диссертацию (дипломную работу, книгу)», что обычно недалеко от истины. Кроме того, наш опыт показывает, что люди и не очень-то интересуются целями проекта. Чаще всего срабатывает отношение к личности исследователя: «если человек хороший, то и исследование его должно быть хорошим».

Честность диктует исследователю и все решения в случае затруднительных ситуаций. Мне представляется неэтичным, например, даже вопрос о том, можно ли использовать специальные технические средства без санкции информанта. Разумеется, нельзя. Примерно так же, как нельзя читать чужие письма в обыденной жизни. Я обычно объясняю присутствие диктофона (если он так уж необходим!) как мое желание использовать его как рабочую записную книжку (исключительно для личного пользования!); это дает мне возможность нормально беседовать, не отвлекаясь на записывание. Независимо от этических проблем, я стараюсь не использовать технику, поскольку уже сама ситуация интервью непривычна для информанта, что влечет неизбежные изменения в характере коммуникации.

3

Наивно представлять, что исследователь может не влиять на жизнь наблюдаемых людей. Поскольку главный не имеющий конкуренции метод полевого исследования — участвующее

наблюдение, то исследователь тем самым неизбежно берет на себя какую-либо роль в наблюдаемом сообществе (организации). Взаимовлияние неизбежно. Чтобы понять другого (особенно «культурно дистанцированного»), нужно достаточное время прожить рядом со своими информантами, стать в какой-то мере одним из них, ресоциализироваться. Да, мы можем невольно влиять на судьбы людей, становиться «биографическими ассистентами» некоторых своих информантов. Но я считаю сам факт невольного вмешательства в наблюдаемую жизнь позитивным. И для исследователя, который не только соберет какую-то информацию, но и поймет (!) ее из перспективы своих информантов. И для сообщества, где социолог в принятой им роли может принести немало пользы, в том числе в качестве эксперта (для многих он выглядит носителем некоего «сакрального» знания) при решении разнообразных проблем. Однако есть существенная разница между ролью исследователя и ролью миссионера или социального работника. Помощь исследователя носит ситуационный характер без сознательных попыток повлиять на систему ценностей и образ жизни информантов.

Я не думаю, что возможно провести глубокое исследование и досконально понять правила повседневной жизни какого-либо сообщества, не прибегая к участвующему наблюдению. Сегодняшний исследователь в условиях лимита времени и денег (или под предлогом того же стремления «не влиять» на жизнь информанта) стремится свести процедуру исследования до интервью с заранее подготовленным гайдом (я скептически отношусь к интервью, признавая его чаще всего вынужденным и вспомогательным методом исследования). В целом попытка стать безличной машиной для сборки данных в стремлении сохранить девственность наблюдаемого сообщества заведомо обесценивает результаты исследования.

Что касается участия в «безнравственных акциях», то социолог — безусловный циник. И его задача объяснить правила, по которым живут люди, а не оценивать их действия по критерию «хорошо-плохо». Вживаясь в среду, исследователь интериоризирует ее правила (если он хочет, конечно, достичь желаемого результата!). Он ест и пьет то же, что и его информанты, он ведет себя, по возможности, так же, как это у них принято. Если он исследует криминальную группу, то его нравственные представления определенным образом социализированного гражданина вступают часто в противоречие с нормами поведения в исследуемом сообществе. Универсальных рецептов здесь не существует, но, я полагаю, этика исследователя должна брать верх над этикой гражданина. Узнав о готовящемся преступлении, побежите вы в этом случае сообщать «кому

следует»? Если да, то вам следует, на мой взгляд, поменять профессию. (Вообще нравственная коллизия в подобных случаях требует особого обсуждения с анализом конкретных примеров, для чего здесь нет места.)

4

У нас принято за правило анонимизировать своих информантов. Иногда это сделать крайне трудно. Например, когда информантами являются известные люди или объектом case study являются уникальные учреждения в городе. Мы должны понимать, что во многих случаях — особенно если результаты исследования имеют общественный резонанс — читатели бросаются «вычислять» поставщиков скрываемой информации или порочащих сведений. В истории Центра независимых социологических исследований была пара ситуаций, когда при всех ухищрениях анонимизации информанты были раскрыты дотошными читателями, так что мы имели достаточно неприятных моментов. Так что теперь социологи ЦНСИ уделяют этому особое внимание.

Вообще исследователь в поле постоянно испытывает нравственные переживания. Записывая наблюдаемые разговоры и ситуации, мы чувствуем себя предателям, поскольку информанты хотели бы оставить высказываемое «между нами» (представьте, что Вы записываете и публикуете слова близких людей). Австрийский социолог Роланд Гиртлер акцентирует наше внимание на том, что *«чувство вины, предательства, бесчестности сопровождают социолога, несмотря на все псевдонимы и перифразы, которыми Вы пытаетесь избежать возможности идентификации. Исследователь предпринимает все усилия, чтобы никого не „заложить“»* [Girtler 2001: 174].

Полагаю, что собранный материал становится собственностью исследователя и согласовывать с информантом его публикацию вовсе не обязательно. Конечно, мы обсуждаем результаты исследования с ключевыми информантами, однако не для того, чтобы заручиться их согласием, а чтобы еще раз осмыслить собственную интерпретацию в дискуссии с инсайдерами. Что касается ознакомления информантов с публикацией, то чаще всего они к ней относятся без особого интереса либо высказывают удовлетворение самим фактом, что их высказывания попали в публичность, пусть и в анонимном виде.

5

Я, конечно, не думаю, что работа полевого исследователя должна быть настолько повязана бюрократическими путями, как это принято, например, у американцев. Однако считаю, что обязательно должны быть оговорены рамки профессиональной работы ученого. Сообщество может успешно функционировать, если все его члены признают правила, регулирующие их деятельность. Важной частью этой совокупности пра-

вил должны стать этические нормы и санкции за их нарушение. Хочешь быть членом профессиональной ассоциации — изволь придерживаться оговоренных правил.

Санкт-Петербургская ассоциация социологов приняла несколько лет назад собственный этический кодекс, в котором зафиксированы профессиональные стандарты и прописаны санкции за нарушение этических норм. В частности, там защищены права информантов. Существует и специальная комиссия ассоциации по этике. (Правда, за все эти годы в комиссию официально (!) не обратился ни один социолог, хотя ставших известными нарушений кодекса немало, одного плагиата пруд пруди. Почему люди не обращаются в комиссию по этике — это другой вопрос, связанный с особым отношением (пост) советских людей к законам вообще.) Дисциплинирующее начало профессионального кодекса должно в конце концов сыграть свою роль. Это станет заметно по мере того, как профессиональные ассоциации будут наращивать престиж и значимость для своих членов.

Подытожить свои беглые наброски (есть еще множество этических проблем, в дискуссии вообще не затронутых — один «выход из поля» чего стоит!) я хотел бы следующим. Совесть исследователя — лучший контролер. Мотивированный социолог заинтересован как можно глубже проникнуть в жизненный мир информанта. Он не «придумывает» результаты. И он ориентируется в дискуссии на столь же открытых и мотивированных коллег. Конечно, в науке полно жуликов и фальсификаторов, которые постараются обойти любые профессиональные правила. Однако «нарушители конвенции» легко вычисляются. Поскольку престиж в сообществе для ученого очень важен, то социальный исследователь стремится придерживаться профессионального кодекса, чтобы не потерять заслуженно завоеванный ранее авторитет.

Библиография

Girtler R. Methoden der Feldforschung. Wien-Koeln-Weimar: Boehlau. 2001.

НАТАЛЬЯ ГАЛЕТКИНА

3 Совершенно беспристрастным наблюдателем исследователь вряд ли может быть, если речь идет не о разовом, а о более или менее длительном присутствии в исследуемом сообществе. И, конечно же, наше присутствие там может менять саму картину происходящего, хотим мы этого или нет. Скажем, сам факт вопросов об этнической идентичности, которые задает исследователь информантам, не может не актуализировать эту самую идентичность. Бессмысленно говорить о том, что мы лишь сторонние наблюдатели, которые пришли, понаблюдали, зафиксировали некую действительность и ушли, оставив ее нетронутой. Можно лишь стремиться к тому, чтобы наше влияние на ситуацию оказалось минимальным, избежать же его вообще — просто невозможно.

4 Возникает в связи с этим и такой вопрос: а можем ли мы рассчитать, насколько велика вероятность нанесения подобного ущерба? Если такая вероятность чрезвычайно мала или даже практически невозможна, означает ли это, что все этические проблемы в принципе решены? Здесь вырисовывается и другая проблема, отчасти обозначенная в пятом вопросе, а именно: способно ли корпоративное соглашение по исследовательской этике предусмотреть значительное количество щепетильных случаев и дать однозначный ответ об их этичности или не этичности? Кодекс, наверно, все-таки нужен. Но будет он принят или нет, все равно мы будем постоянно сталкиваться с ситуациями, которые не будут противоречить его положениям и в то же время вызывать сомнения этического плана. И в таких ситуациях только сам исследователь способен решить, этично ли то, что он делает.

Хотелось бы в связи с этим вернуться к уже обсуждавшейся на факультете конкретной ситуации, этическую сторону которой как раз невозможно определить однозначно исходя из формальных положений. Речь идет

об отношении исследователя к такому специфическому материалу, как записки для Ксении Блаженной, которые люди оставляют на петербургском Смоленском кладбище. Можно ли использовать их как «источник», и если да, то как именно? Поставлю вопрос конкретнее: можно ли собирать их у часовни, читать, анализировать, приносить в качестве учебного материала на семинар, обсуждать их содержание с коллегами? Я считаю, что нет. Это неэтично, даже если мы уверены, что люди, написавшие записки, ничего не узнают об их дальнейшей судьбе. Да, авторы остаются анонимными. Да, вряд ли они прочтут наши публикации, а записки, не заберем мы их с кладбища, превратятся в мусор, который сгниет или сгорит. Но...

Во время обсуждения мнения разделились. Для кого-то использование записок в качестве полевого материала казалось вполне приемлемым. Однако при этом почему-то все однозначно оценили как неэтичное мое «предложение» установить диктофон в исповедальне и записать исповедь. А почему? Если думать о выявлении и сохранении информации, то какой замечательный источник мы бы тогда получили. Анонимность же информантов и их неведение о судьбе слов, сказанных ими в исповедальне, можно всегда обеспечить. Для меня обе эти ситуации — реальная с записками для Ксении Блаженной и предполагаемая с исповедью — представляются явлениями одного порядка. Попробую объяснить, почему.

Записки для Ксении Блаженной — не единственная в своем роде практика. Записки пишутся и оставляются во многих других местах, воспринимающихся как сакральные. На память приходит эпизод из прочитанной недавно повести Эфраима Севелы¹, где автор описывает иерусалимскую Стену Плача. Тысячи людей ежедневно приносят к Стене свои записки и оставляют их в щелях между камнями. Ночью рабочая команда иерусалимского муниципалитета, вооруженная длинными крючьями, извлекает эти бумажки, чтобы завтра тысячи других записок снова заполнили образовавшиеся пустоты. Севела не пишет, что происходит с ними дальше. Наверное, их сжигают. А ведь можно было бы отдать антропологам, и богатый полевой материал не превратился бы в мусор. Меня, честно говоря, коробит такое предположение. Но если мы считаем, что записки для Ксении Блаженной собирать и читать можно, то почему бы так не поступать и с записками, оставленными в иерусалимской стене? Чем они хуже или лучше петербургских посланий?

¹ Севела Э. Остановите самолет — я слезу. М., 2006. С. 132–133.

Сделаем еще один шаг: спросим себя — чем являются эти записки, как не зафиксированными на бумаге текстами, представляющими собой один из способов общения человека со сферой сакрального? Возможно, те же самые тексты мы бы получили, имея на руках расшифровки аудиозаписи молитв к той же Ксении Блаженной или к Господу Богу. Ну так давайте и установим у часовни или у Стены Плача записывающее устройство, чтобы получить такие тексты, насыщенные богатой информацией, необходимой для нашего исследования. А отсюда — и совсем маленький шаг к тому, чтобы организовать аудиозапись в исповедальне. Ведь в результате мы окажемся обладателями ценных документов, говорящих нам о практиках, дискурсах, мотивациях и пр.

Мне кажется, что этот конкретный случай очень показателен с точки зрения поставленного вопроса: *где проходит грань «дозволенного» для науки?* Думаю, это как раз та ситуация, когда задача выявления и сохранения информации должна отходить на второй план. И, может быть, речь здесь даже не столько о том, чтобы соблюсти этические требования по отношению к информанту (хотя об этом, конечно, тоже), сколько о том, чтобы сохранить нормальное человеческое уважение к себе и к другим людям.

БРЮС ГРАНТ

Когда мне приходится читать большие лекционные курсы студентам-первокурсникам, я неизменно начинаю с того, что этнография — одна из высочайших доступных человеку форм искусства, но нет ничего проще, чем заниматься ею плохо. Простой вопрос этики полевых исследований в очередной раз напоминает о том, почему это так.

В Соединенных Штатах практически все научные и образовательные институты получают некоторую финансовую поддержку от государства, для чего все исследователи должны подписаться под «Общими правилами» — набором юридических принципов, направленных на защиту людей, которые являются объектом исследования. Теоретически это должно приносить только пользу: помня о темных временах нацистских экс-

Брюс Грант
(Bruce Grant)
Нью-Йоркский университет,
США

периментов, авторы этих юридических правил требуют согласия на участие в исследовании всех сторон. Предполагается, что результаты работы должны распространяться максимально свободно и открыто. Однако на практике процедура рецензирования может быть весьма обременительной. «Общие правила», принятые институциональными оценочными советами (Institutional Review Boards), или «IRB», были ориентированы на контроль в области биомедицины и психологии, тогда как антропологические полевые исследования, имеющие скорее качественный характер и менее мотивированные получением конкретных сведений, остались вне рамок их понимания. Специфика полевой работы антрополога в том, что исследователь сам является инструментом измерения, граница между формальным и неформальным постоянно смещается, что затрудняет нормативное регулирование.

Некоторое облегчение для этнографов-историков наступило в 2003 г., когда Американский департамент здоровья и социальных служб объявил о том, что «устная история» исключается из сферы институционального рецензирования. Но до всеобщего освобождения еще очень далеко.

Приведу один из самых сложных случаев, имевших место на моей кафедре. Аспирантка исследовала китайский рынок торговли произведениями искусства, находящийся в зачаточном состоянии. Несмотря на то, что ей удалось выиграть несколько стипендий на проведение интервью с китайскими торговцами, университетскую комиссию это не убедило. Что, если в мире торговли искусством, где не все финансовые операции полностью легальны, ее информанты рисковали, просто говоря с ней о своем бизнесе? Молодая исследовательница справедливо возражала (и в конце концов ее логика оказалась убедительной), что в Пекине, попроси она подписывать юридические бумаги перед каждым интервью, с ней бы просто никто не стал разговаривать.

Но грозные IRB, вызывающие раздражение и заставляющие заполнять кучу бумаг, все же служат нам всем напоминанием о том, что даже самые невинные на вид проекты могут иметь «отложенные» последствия. Трудно забыть роковой парадокс, связанный с исследованиями американского антрополога Наполеона Шаньона. Его работы о «свирепом народе» бразильских индейцев яномами в 1970-е гг. приобрели массовую популярность, а позже стали одним из самых известных исследований в истории этнографии. Однако в годы военной диктатуры бразильская администрация использовала работу Шаньона как доказательство «дикости» яномами и этим оправдала бомбардировки их деревень и другие акции жестокого

успокоения, истинной целью которых была эксплуатация местных природных ресурсов. Впоследствии туземные советы яномами объявили фактический запрет на новые этнографические исследования. Их примеру последовали аборигены канадского севера, закрывшие двери для тех исследователей, которые не присылают копий своих публикаций или подрабатывают консультантами в нефтедобывающих компаниях, помогая прокладывать нефтепроводы по землям аборигенов.

Мои собственные этнографические исследования по большей части ориентированы на историю, поэтому в заявках на гранты я попадаю под *«исключение, сделанное для устной истории»* и мои отношения с оценочными советами складываются сравнительно удачно. И все же, проводя формальное интервью, с блокнотом и диктофоном, я прежде всего предлагаю собеседнику выбрать для себя вымышленное имя, сохранив пол и приблизительный возраст, т.е. напоминаю, что будущие читатели могут его опознать. Более того, проводя в 1995 г. полевые исследования на Сахалине, целью которых было привлечь внимание к посмертным англоязычным публикациям Льва Штернберга, я быстро убедился в беседах с пожилыми нивхскими женщинами, что люди охотнее откликаются на этнографические темы, когда оказываются не просто «респондентами», а подлинными соавторами. Друзья и коллеги, которых я знал уже лет пять, убедившись, что я работал не столько «над» информантами, сколько «вместе» с ними, также охотнее включились в обсуждение темы.

Чем менее формальны условия полевых исследований, тем больше сложностей они вызывают. В 2002 г. я несколько месяцев работал с семьей предводителя знаменитого восстания, произошедшего в 1930 г. на северо-западе Азербайджана в городке, который теперь называется Шеки. Аналогии с современностью бросались в глаза: всего за несколько месяцев до того, как я приступил к полевым исследованиям, произошли массовые выступления, направленные против местной администрации, которая в трудные времена оказалась неспособна обеспечить население электроэнергией, газом и субсидиями для крестьян. Проведя эти параллели в своем исследовании, они подкрепили бы научную аргументацию, но нарушили бы соглашение, которое я заключил со всеми своими собеседниками — говорить о добрых старых временах, а не о мрачном настоящем.

Принципы, лежащие в основании такой полевой этики, просты и всем известны: ясно излагать свои цели; привлекая респондентов к сотрудничеству и вызывая их на заинтересованный отзыв и оценку, обеспечивать им доступ к опублико-

ванным работам; писать об объектах своего исследования так, как вы хотели бы, чтобы писали о вас; щедро делиться полученными результатами. Когда этнографией занимаются как следует, возникает доставляющее истинную радость глубокое человеческое общение и тонко интонированное письмо, через которое это общение доходит до читателей. Но как часто исследователи сбиваются с пути! Институциональная оценка многим кажется обременительной, но добра в ней, как говорится, больше, чем зла — того зла, которому мы поддаемся, стоит на мгновение забыть: в современном мире то, что мы пишем, может быть доступно всем.

Пер. с англ. Марии Маликовой

ЭЛЬЗА-БАИР ГУЧИНОВА

1

Мне приходилось менять свои планы из соображений этического характера, потому что возникал вопрос, как соотносить мои научные интересы и не обидеть людей, с которыми я работала. В 2004 г. я поехала в Элисту, чтобы записать рассказы о депортации. Понимая деликатность искреннего повествования о депортации, о личном переживании практик исключения, а также (должна признаться) желая облегчить себе работу, я обратилась к своим знакомым, которых знала давно: соседям, родителям своих одноклассников, знакомым и друзьям родителей. Люди обычно относились к моей просьбе рассказать о своей жизни с пониманием, ведь публикаций о депортации в калмыцкой печати за последние годы было много. Но почти все были уверены, что надо продолжать когда-то намеченную политикой и прессой роль народа-жертвы и акцентировать несправедливость массовых репрессий. Однако в ходе беседы, переживая и переосмысливая свою жизнь, многие собеседники чувствовали, что не всегда прожитое вписывается в эту схему, просили не включать для публикации тот или иной сюжет или рассуждение. Как-то в ходе рассказа собеседница мне вдруг сказала: «*Вы не к тому пришли, у меня была своя Сибирь,*

Эльза-Баир Мацаковна
Гучинова
Институт этнологии
и антропологии РАН, Москва

хорошая Сибирь», — полагая, что позитивное переживание сибирского опыта не отвечает моим исследовательским ожиданиям, ведь я как калмычка обязана писать о депортации высоким трагическим языком.

Практически все опрошиваемые считали себя частью коллективного тела «калмыцкий народ», чувствовали необходимым подчеркивать свою лояльность и полагали, что их рассказы никак не должны бросить тень на образ народа. Тем не менее, копаясь в воспоминаниях, двое из моих информантов, смущаясь, признались, что детьми верили в то, что раз калмыки были сосланы за предательство (в отличие от единственного исключения — их семьи, в которой отец был фронтовиком), то все остальные калмыки — предатели. Они избегали общения со сверстниками, проживавшими в том же сибирском селе, и чувались всего калмыцкого.

Расшифровка устных спонтанных рассказов, слегка откорректированная стилистически, не удовлетворила почти всех рассказчиков. Большая часть имела высшее образование, но примерно четверть опрошенных была со средним специальным образованием. Если бы все информанты были из села и не имели образования, возможно, они имели бы меньше претензий и были бы рады любой публикации или быстро бы забыли о моем визите. Но я обращалась к горожанам, к своим знакомым, разочаровывать которых не хотела и не хочу. Привыкшие к отредактированным газетным текстам, они были недовольны текстом собственной естественной речи, которая, кстати, была не только вполне связной, но и живой, образной, богатой. В этом-то и заключалась одна из задач проекта — не только собрать новые знания о стратегиях выживания людей в трудных условиях, но и показать лексическую прагматику *языка травмы*. Поэтому оговорки, ошибки, которых стыдятся рассказчики, мне особенно важны для анализа. Моя информантка так сформулировала свое неудовольствие: *«Я же не так говорю, когда выступаю с трибуны»*. Ей казалось, что простой беспартийный рассказ не соответствует стандартам публичной речи и как бы занижает интеллектуальный уровень рассказчицы и непременно разочарует читателя. Почти половина людей, к которым я выслала транскрибированные тексты, оказались недовольны, а была и такая реакция: человек разорвал в гневе 20-страничную распечатку своего рассказа. Этот респондент, будучи в руководстве республики в военные годы, обладал особой информацией и чувствовал ответственность за судьбу народа. Он подтверждал, что *«были предатели, были дезертиры, что есть наша вина»*. Это он говорил мне лично и вроде бы не по секрету, а под включенный диктофон. Его речь была монологом ответственного номенклатурного работника, который

взвешивает все оценки и лишнего не говорит. Но письменный — слово в слово — текст, в отношении которого, я была уверена, он был бы благодарен за мое уважительное отношение к его словам (я ни слова не изменила), ему показался то ли оскорбительным, то ли провокационным, возможно, потому что слова «*есть наша вина*» были как бы признанием предательства и, значит, оправданием депортации. Не исключено, что в его честном рассказе проявилась та правда, с которой он был не согласен как член партии, и разорванные страницы были далеким эхом его личного внутреннего конфликта между репрессированным калмыком и коммунистом — вожаком комсомола.

Из-за того, что часть моих информантов осталась недовольна расшифрованными текстами, я поняла, что обсуждение формата публикации должно быть очным, электронное общение только усложняет ситуацию, и я отложила подготовку к публикации книги до своей следующей поездки в Элисту.

2

Я не позволяла себе хитростей в общении с информантами, тем более технических, хотя иногда и жалела о потерянной информации. Во время полевого исследования в калмыцкой общине США в 1997–1998 гг. мне приходилось встречаться с категорическим запретом включить диктофон в приватной беседе. Это недоверие было вызвано некорректной работой калмыцких журналистов, которые часто искажали имена, факты и интерпретацию событий людьми, с которыми беседовали. После таких публикаций у многих появилось предвзятое отношение к пишущей братии, в том числе и к этнологам. При категорическом неприятии диктофона я по возвращении домой записывала услышанное по памяти. Но в этих редких случаях качество материала менялось: его можно было использовать только как наблюдение, как запись из полевого дневника, а не как связный рассказ, т.е. фактическая сторона в целом сохранялась, но слова в переложении терялись, а это также важный компонент анализа. Эти трудности возникали в приватном общении. В публичном пространстве, например, в большом застолье, люди были смелее, возможно, они стеснялись высказать вслух свои опасения, я смело ставила включенный диктофон на стол, и после первых неловких минут и неловких шуток о шпионаже и КГБ все забывали о том, что запись идет, и беседа текла ровно.

4

Обязательная формальная санкция информанта на сбор и публикацию сведений о нем поможет в работе. Западные коллеги, как правило, изменяют имена: получив интервью, сменив имя в публикации, исследователь избегает возможных упреков и судебных исков, ведь информанты нередко меняют

свои «показания». Сегодня они расскажут свою судьбу в одном ключе, а завтра под влиянием другого настроения — в совершенно ином эмоциональном настрое. Такой рабочий стиль удобен, так как разъединяет профессиональные и человеческие отношения. После окончания проекта ученый уже не вернется к тем людям, и вряд ли он чувствует себя обязанным знакомить их с итогами своей работы.

В отечественной науке другие традиции. У нас этнолог часто работает не по конкретным проектам в разных регионах, а в каком-то определенном регионе, с которым связана практически вся его научная жизнь. Туда он регулярно ездит в поле, там завязывает человеческие отношения с коллегами, имеет своих любимых информантов, которых всегда навещает и привозит подарки. Обидев информанта, он может «испортить поле» и получить репутацию автора, который, возвращаясь в центр, пишет не то, что обещал. В следующий раз ему расскажут не совсем то, что думают, или не все, что знают.

Еще труднее, если ты антрополог своего народа. Ты связан с изучаемой группой тысячей нитей. Часто эти связи помогают в работе, но нередко и мешают. В последние годы я занимаюсь антропологией депортации. Мне было просто неловко после интервью предлагать людям изменить их имена в публикации, ведь такое предложение может обидеть старых людей, которые все-таки гордятся своей жизнью и считают себя победителями, раз выжили и не растерялись. Они мне рассказывают о пережитом с надеждой, что в планируемой книге их имя останется, а их внуки смогут прочесть и гордиться. Договоренность прислать экземпляр издания — практическое единственное условие во время моих интервью. Показать, что не зря боролись с трудностями, что имена бывших депортированных не канули в лету, а наперекор судьбе все же вошли в историю — вот одна из сверхзадач их повествования. Предложение изменить имя как будто допускает мысль, что им есть чего стыдиться, словно у них есть опасения в разоблачении.

Договоренность о смене имени была только в одном случае — с человеком, рожденным без отца. Потеряв детей во время оккупации, а мужа — на фронте, женщина решается во время депортации завести ребенка, чтобы обрести новый смысл жизни. В своем рассказе человек называет родителями мать и бабушку. Но вопрос о биологическом отце висел в воздухе, не задать его, представив неполную историю, не заметить безотцовщину по умолчанию означало увидеть в нем неприличное, имплицитно осудить безмужнее материнство. Сын, рассказывающий семейную историю, принужденный задуматься над вопросами, которых избегал, прочитав текст интервью спустя год,

решил оставить свое имя в публикации. Он, может, и раньше понимал интуитивно, но когда это обсуждение состоялось с посторонним человеком — мною, он еще раз убедился, что таким поступком, который совершила его мать, можно и должно гордиться.

В другом случае мой дядя рассказывал о своей жизни под диктофон и в присутствии жены. Он был выслен в десять лет и рано стал старшим в семье, отвечая за все хозяйственные вопросы, содержал мать и четырех братьев и сестер. Такие люди быстро взрослеют, но дядя также всегда отличался жизнелюбием. В его нарративе проскользнуло, как он подростком дружил с заведующей магазином, что помогало ему, например, раз в год покупать у нее коробку сливочного масла и сдавать масло вместо налога на молоко, чтобы обеспечить молоком для калмыцкого чая свою семью в течение года. Это были более интимные, чем просто дружеские отношения. Дядя так и сказал: *«Она меня ласкала, а я ей помогал по хозяйству — то свиней накормлю, она же весь день на работе»*. Я вижу, что этот эпизод важен, что он иллюстрирует, что калмыки не всегда и везде были изгоями, что иногда ребята были привлекательны для местных женщин, что обмен поцелуев на услуги может быть гендерно симметричным и многое другое. Но я боюсь показать текст дяде, потому что он, скорее всего, попросит этот эпизод убрать.

Конечно, оставаться беспристрастной в беседе о трудной судьбе человека и его размышлениях о судьбах твоего народа совсем непросто. И для меня важно в первую очередь уйти от политических оценок сталинизма или современной власти, чтобы не спорить с собеседником или не дать ему ложного впечатления о единомыслии. Тут я часто вспоминаю статью об этнографическом соблазне А. Робина, который встречался с людьми, ответственными за гибель невинных людей. Спустя годы после недоказанных преступлений они любезно приглашали иностранного исследователя в гости, угощали хорошим кофе и, таким образом обольщая, пытались навязывать свою версию прошлого [Robben 1996]. Мне приходилось встречаться с бывшими сотрудниками КГБ, которые кое-что знали о Калмыцком корпусе. Они также выглядели заинтересованными в том, как же будет выглядеть народ в публикациях о коллаборационистах-калмыках. *«Я тебе расскажу кое-что, но обещай, что ты не будешь писать об этом, — предложил мне один генерал. — Зачем же Вы рассказываете, если я не смогу это использовать в работе? — А чтобы знала, о ком пишешь»*. И он мне поведал подробности жестокости «корпусников». Если бы я о них написала, то можно было продолжить разговор о формах насилия, укорененных в исторической практике, на-

чатый В.А. Тишковым на материалах этнического насилия в Ошском конфликте [Тишков 1997]. Но обещание не писать было дано, и пока информант жив, я об этом писать без его разрешения не решусь.

Неловко задавать вопросы интимного характера пожилым людям и как бы удовлетворяться полуправдой, намеками, не докапываясь до существа вопроса. Например, на вопрос: «Как Вы предохранялись от беременности в 40-е годы?» 80-летняя женщина мне отвечает: календарным методом. Мне не очень верится, но больше спросить я не могу. Неприятно, когда говорят неправду, но и настаивать как строгий следователь на признании не хочется.

Недавно я интервьюировала японцев, бывших военнопленных Квантунской армии, отсидевших в советском ГУЛАГе. Оказалось, что вопросы, которые я лихо набрала на компьютере, совсем непросто задать вслух. Люди в целом подтверждали, что в лагерях встречались гомосексуальные отношения, но они точно не знают, только слышали. А вот про их собственный опыт — были ли муки воздержания или нет, ночные поллюции, страхи вечной импотенции — тоже не всегда удавалось спросить. Однако дерзость иногда оправдывается. Вот человек рассказывает о своей любви к русской женщине, вспоминает запах черемухи, нежную белую кожу и я решаюсь и спрашиваю: «Вы только целовались или..?» И 85-летний профессор мне отвечает: «Что Вы, я вернулся в Японию и, может, только год спустя почувствовал себя мужчиной».

Можно ли стесняться задавать щепетильные вопросы? Такие вопросы задавать надо, иначе мы, упуская преимущества устной истории как метода, соглашаемся на неполную историю, на ее «прилизанную» схематичную версию, в которой есть события, но мало чувств, есть партии, армии, колхозы, но маленькие люди, состоявшие в партиях, работавшие в колхозах, с их «микроскопическими», но вечными проблемами — как жить? — почти не видны. Задавать сложные вопросы необходимо, но надо это делать аккуратно.

5

Проблемы научной этики действительно стали ошутимее в постсоветские годы. Теперь, когда исследователь, информант и читатель получили равные «права на истину» и вместо жесткого однозначного вывода автор предлагает конкурирующие дискурсы, форма, в которой исследователь подает материал, стала ошутимо важнее. Сейчас тексты антропологов стали ближе к беллетристическим (К. Гирц), и, как легко узнается стилистика письма великих писателей, так стали узнаваемы авторские стили многих российских антропологов. Свободная манера изложения, раскрепощая автора, в отсутствие научной

цензуры порой пропускает в конечный текст оговорки или штампы, которые основаны на стереотипном восприятии, содержат элементы расистских, колониальных или патриархатных взглядов, что в научном издании недопустимо. Политическая корректность в гипертрофированных формах бывает нелепа, но в небольших дозах может быть полезна.

Создание корпоративного соглашения по исследовательской этике для российских антропологов будет полезным делом, несмотря на то, что, скорее всего, его эффективность не будет велика, поскольку само сообщество плохо институализировано. Тем не менее даже как документ символического значения оно даст ориентиры для молодых исследователей и как-то очертит границы дозволенного в профессиональной этике и станет шагом к становлению антропологического сообщества в России.

Библиография

Тишков В.А. Очерки теории и политики этничности в России. М., 1997.

Robben A.C.G.M. Ethnographic Seduction, Transference and Resistance in Dialogues about Terror and Violence in Argentina // *Ethos*. 1996. Vol. 24. No. 1.

НАТАЛЬЯ ДРАННИКОВА

1 Тема моего исследования «Локально-групповые прозвища и их функционирование в современной речевой практике», безусловно, вызывала у меня определенные сложности во время сбора полевого материала. Прозвища относятся к потаенной сфере народной словесности. Произнесение прозвища часто сопровождается смехом или улыбкой — исполнители осознают его пейоративность. Они просят не публиковать сообщаемую информацию или же не называть их фамилий при публикации.

Коммуникативные ситуации, в которых происходит вербализация коллективных прозвищ, довольно типичны: к ним относятся ссоры, встречи и т.п. Коммуникативная интенция прозвищ связана с раздражением и недовольством по отношению к их адресату или же с насмешкой в его адрес.

**Наталья Васильевна
Дранникова**

Поморский государственный
университет, Архангельск

Прозвища сохраняют элементы табуирования речи. Они имеют тенденцию превращаться в ругательства и переходить в область некодифицированной лексики, приобретая тем самым свойства инвективы, цель которой — понизить самооценку соседнего сообщества и вызвать с его стороны определенные действия. Прозвищную инвективу можно рассматривать как интериоризацию действия. К ритуализованным формам поведения относились драки. Определение прозвищной идентичности могло служить сигналом к началу драки. В этой ситуации прозвище выступало в качестве инвективы, и его целью было вызвать негативные эмоции и агрессивные действия у представителей соседней группы.

Во время сбора материала мне неоднократно приходилось сталкиваться с тем, что исполнители просили не называть их фамилии при возможной публикации материала. Особенно часто подобная ситуация возникала в небольших населенных пунктах, где все друг друга знают. В течение нескольких лет я пользовалась вопросником, иногда по этому вопроснику заочно (я находилась в Архангельске) работала целая деревня — результаты опроса затем отправлялись лично мне в Архангельск. Под некоторыми анкетами стояла приписка с просьбой не публиковать фамилию информанта.

Как я уже писала, исследуемый мною материал зачастую носит бранный ненормативный характер. Из 800 прозвищ, помещенных в «Указателе присловий-прозвищ» к книге «Локально-групповые прозвища. Функциональность, жанровая система, этнопоэтика» (Архангельск, 2004), две трети имеют негативную семантику. Поэтому для моей собирательской работы были актуальны гендерные проблемы. Мужчины стеснялись называть некоторые из прозвищ или давать их мотивации. В этом случае помогали женщины (жены, дочери, сестры и т.п.).

При публикации прозвищного фольклора я учитывала просьбы исполнителей и не называла их фамилии, т.к. один и тот же текст всегда был записан в нескольких вариантах, и всегда находился исполнитель, который спокойно относился к своей дальнейшей «известности».

2

Я думаю, что исполнитель поймет и цели, и задачи собирательских изысканий. Моя многолетняя полевая практика всегда строилась на отношении доверия. Понимание исполнителями цели моей работы позволяло задавать частные приватные вопросы без последующего комментария и объяснения. Доверие предполагало, что я не могу использовать полученные от исполнителя сведения в невыгодном для него свете.

Думаю, что когда речь идет об использовании технических

средств, мы не в праве использовать их в тайне от исполнителя — это наиболее репрезентативная форма сбора материала, где невозможно ограничиться зашифровыванием имени или сделать его анонимным.

3 Вопрос очень сложный, хотя вряд ли наше присутствие при должном уважении к исполнителю может как-то повлиять на его судьбу или спровоцировать экстремистские действия.

Исследователю трудно оставаться беспристрастным исполнителем, если он работает в своей группе, когда дом становится *полем*. В этом случае на уровне принадлежности к группе собиратель сочувствует близким или родственникам, на исследовательском уровне он должен зафиксировать необходимые ему сведения.

4 Полагаю, что нельзя. Что касается знакомства исполнителей с собранным материалом, то я вижу здесь два возможных варианта. В первом случае важно, необходимо знакомить самих исполнителей с последующими публикациями классических форм традиционной культуры, сделанными в конкретной местности и от конкретных людей. Когда я выпустила книгу «Архангельские сказки (из материалов лаборатории фольклора Поморского государственного университета)» (Архангельск, 2002), многие из жителей Архангельской области стали звонить и писать мне, сообщая новые сказочные тексты, не вошедшие в книгу, т.е. в этом случае знакомство с книгой/статьей самих носителей традиции стало стимулом для новых изысканий.

Второй вариант знакомства исполнителей с собранным материалом касается исследовательских работ, связанных с потаенной сферой современной культуры. Вряд ли для местного сообщества полезно знакомство с этой литературой. Исследовательская рефлексия и интерпретация полученных сведений иногда сама порождает стереотипы, которые местное сообщество усваивает из этих книг или статей, — примеров достаточно.

5 Дискуссия вызвана тем, что объектом исследования стали вопросы, находившиеся раньше на периферии науки (групповой фольклор, парафольклор и т.п.). Обращение к ним вызвало необходимость новых методов исследования, связанных с исследовательской рефлексией и «проникновением» внутрь группы. Исследователями стал активно использоваться метод «включенного наблюдения», с помощью которого собирался материал среди друзей и родственников.

Не вызывает сомнения, что в России отношения собирателя и исполнителя строились на доверии, взаимном уважении и в дальнейшем поддерживались на протяжении многих лет. Су-

ществовала исследовательская этика, не позволявшая ученому-собирателю публиковать полученные сведения, если они носили потаенный характер, без согласия исполнителя, хотя исключения, конечно, были.

Считаю, что создание корпоративного соглашения по исследовательской этике необходимо, но вот его функционирование в России вряд ли будет эффективным из-за особенностей нашего менталитета.

ВЛАДИМИР ИЛЬИН

Золотое правило полевой морали

Есть ядро общечеловеческой морали, часто называемое ее **«золотым правилом»**: *«относись к другому так, как ты хотел, чтобы люди относились к тебе»*. Глобальная формула морали разворачивается в бесчисленное количество частных «золотых правил», адаптированных к конкретным сферам жизни людей, эпохам, культурам. Одна из этих сфер — полевое социологическое или антропологическое исследование, которое тоже не может быть свободным от морали. «Золотое правило» морали исследователей можно сформулировать просто: **«Не навреди информанту!»**

Как и в любой иной сфере, здесь происходит столкновение моральных норм с необходимостью делать свое дело, добиваться своих целей, за которые платят деньги, движение к которым составляет содержание всей профессиональной деятельности. И в решении этого противоречия абстрактное «золотое правило» приземляется на землю, обретает компромиссную форму практической профессиональной нравственности. В решении противоречия между идеальным императивом и логикой работы люди мучатся между двумя крайностями.

Одна из них — жесткая приверженность морали, предполагающая, что свое дело можно делать только тогда, когда нет места

Владимир Иванович
Ильин
Санкт-Петербургский
государственный университет

для сомнений относительно риска отхода от нее. Поскольку риск есть очень часто, то жесткая моральная принципиальность нередко оборачивается тем, что такой исследователь собирает пресс-релизы фирм или пиаровскую «лапшу» информантов (т.е. то, как информанты хотят представить себя миру), выдавая все это за результаты научного исследования. И попадает в моральную западню, поскольку обманывает своих читателей. Наука превращается в жанр PR-а.

Другая крайность — профессиональный цинизм, отбрасывающий моральные ограничения как препятствие на пути к профессиональному успеху. И каждый сам делает выбор в пространстве между этими полюсами. Правда, логика жизни исследователя среди людей формирует пространство, усеянное «кнутами и пряниками» — карами и вознаграждениями за совершаемый выбор. Поэтому сугубо практические соображения нередко толкают в сторону от профессионального цинизма к полюсу морали. Дело в том, что циничный профессиональный успех строится на простой посылке: мне с этими людьми больше не встречаться. А если жизнь кончается не завтра и встречаться все же придется? А если люди, задетые циничным исследователем, поделятся своими впечатлениями с другими, пойдет молва и не только о данном человеке, а обо всем профессиональном сообществе? И возникает феномен, который часто определяют как «порчу поля». В реальной жизни нормальный исследователь, не лишенный нравственного чувства и профессионального тщеславия, в каждой конкретной ситуации пытается примирить крайности, найти золотую середину в решении частных сугубо технических вопросов.

Вхождение в поле начинается с презентации исследователем себя потенциальным информантам. Моральный императив требует не просто открыть забрало, а обнажиться для тщательного досмотра на предмет обнаружения тайного умысла. Путь к морально благому намерению идет через технические ухабы. Чтобы информант полностью понял смысл и задачи исследования, его надо как минимум обучить своей профессии. Неизбежный компромисс заставляет предельно упрощать презентацию себя и проекта до нескольких фраз, формулируемых на повседневном языке. Например, пару сезонов я проводил в Германии исследование под названием «Социальное конструирование этничности немецких переселенцев из бывшего СССР». Можно ли, будучи в здравом уме, такое название произнести моим информантам, которые никогда не слышали половины из этих слов? Я не мог. И говорил, что изучаю, как переселенцы устраиваются на новом месте. По сути, это иная тема. Значит, я лгал, грешил против жестко понимаемых моральных принципов. Хотя правило «Не навреди!» оставалось

непоколебимым. Моя маленькая ложь упрощения никому не могла принести зла.

С иным ракурсом этой дилеммы (успех или честность) я столкнулся во время полевых исследований в церковных общинах США и Германии. Разумеется, меня встречали как заблудшую овцу, которой можно будет открыть глаза и тут же крестить по единственно верному обряду. Профессиональный циник во мне шептал: «Ну, сдайся! Скажи, что поверил. И ты станешь своим, доставив своим информантам огромную радость». Но другой внутренний голос озвучивал моральный закон, сидящий где-то глубоко в сознании: «Это будет цинично по отношению к искренне верующим людям». И я выбрал совершенно честный вариант, вероятно, не самый лучший с точки зрения задач включенного наблюдения: я отвечал, что еще не пришел к Христу. Разумеется, у моих информантов могли после этого появляться сомнения в моих интеллектуальных способностях: ведь в Америке мне девять месяцев еженедельно объясняли, что есть лишь один верный путь понимания мира, изложив все аргументы по десятку раз разными устами. Но в моей позиции было и профессионально рациональное зерно: как неверующий я имел право задавать вопросы, которые не могут приходиться в голову настоящему члену церкви.

Глубокое интервью — это спектакль, в котором ради профессионального успеха исследователь должен играть роль если не единомышленника, то по крайней мере лояльного и немного наивного слушателя. Информантами же нередко оказываются люди, с которыми я не могу иметь ничего общего. Наши убеждения порою просто враждебны. Мне приходилось делать интервью с убийцами, наркоторговцами, фашистами и даже с охранником концлагеря, который участвовал в расстреле заключенных. Но если я буду не соглашаться с той чушью, которую мне излагают в порядке морализирующих заметок на полях рассказа о своей жизни, интервью превратится в бессмысленный, с точки зрения моих целей, диспут. И профессиональный интерес заставляет меня кивать в знак то ли понимания, то ли согласия (техническое лукавство), стимулируя рассказ. Опять компромисс.

Одна из моральных проблем, возникающих в ходе интервью, связана с **использованием техники**. Известно, что диктофон выступает как помеха для нормального общения, хотя сила его влияния различна. Одних он просто парализует, других (большинство) заставляет говорить более осторожно, взвешивая свои слова. В силу этого свободная беседа имеет тенденцию к превращению в презентацию информантом себя. Естественно, что у исследователя появляется соблазн не создавать себе

проблем и просто включить диктофон в кармане или портфеле. Благо, что современная техника позволяет получать отличное качество записи при самой тщательной маскировке.

Один знакомый журналист, считавший мораль предрассудком, мешающим профессиональной деятельности, не ломал себе голову поисками компромиссов и просто входил в нужные кабинеты с заранее включенным диктофоном, а потом в газете появлялись его репортажи с точными цитатами. Когда возмущенные директора пытались опровергнуть публикации, он просто включал диктофон. С ним перестали не только спорить, но и пускать в кабинеты, а если пускали, то отделывались общими фразами. Поле оказалось безнадежно испорчено. И журналист сменил город. Оставшимся коллегам работать стало сложнее, т.к. сработал механизм стереотипизации: «Знаем мы вашего брата!».

Как правило, я избегал скрытой записи, хотя несколько раз не устоял перед соблазном включить диктофон в рюкзаке. Профессионал победил моралиста. Например, во время застолья шел очень интересный разговор. Прервать его просьбой поставить между тарелок диктофон означало сломать ход оживленного общения. С точки зрения чистой морали, это было нехорошо. Но я успокаиваю себя тем, что ни в коей мере не погрешил против «золотого правила» профессиональной морали и никак не навредил моим собеседникам. Записанные тексты никогда не появятся в печати со ссылками на фамилии людей, произносивших их.

Особенности профессиональной этики очевидны. Она не может не отличаться от этических норм, принятых в повседневной жизни, где неприлично совать нос в чужие дела, приставать к другому человеку с расспросами о его жизни, затрагивать темы, которые могут оказаться щекотливыми, интересоваться доходами и покупками, навязывать знакомство и общение и т.д. Если социолог на работе попытается соблюдать все этические принципы обычной повседневной жизни, то проще сменить профессию. Его работа состоит в добывании информации, которая редко лежит на поверхности. Никто не звонит ему домой и не просит проинтервьюировать. И даже просьба социолога об интервью часто не вызывает никакого энтузиазма. Он приходит в чужой дом и лезет в чужие дела. Он навязывает свое общение и стремится открыть двери в дома чужих людей, которые ему не хотят открывать. Он не знает стеснения и спрашивает обо всем, что его интересует. Короче, исследователь на работе — это не очень воспитанный, навязчивый и чрезмерно любопытный тип. Но если он будет вести себя прилично, то соберет только мнения многих об изменении

погоды, а о серьезных темах с ним будут говорить только люди, истосковавшиеся по общению. Поэтому ради выполнения своего профессионального долга исследователь превращается в функцию, свободную от знания повседневного этикета, и спрашивает обо всем, что ему кажется важным.

В особом ракурсе предстает проблема использования техники в **визуальном исследовании**. Моральные нормы и правила поведения, которые регулярно озвучиваются самыми разными представителями общественности, гласят, что снимать можно, лишь получив согласие (лучше письменное) объектов съемки. При точном соблюдении этих норм, которые уже воспроизводятся в книгах и статьях, лучше просто разбить камеру и не морочить себе голову рассуждениями о визуальном исследовании жизни людей. Что значит получить согласие перед каждым кадром? Мы получим серии любительских снимков с улыбками в стиле «кишмыш» (современный вариант — «кисс»), подправленными прическами, застегнутыми пуговицами и т.д. Не отличить от репортажа из музея восковых фигур.

В ходе своих исследований я использовал компромиссный вариант. Например, в самом начале своих исследований в церковных общинах спрашивал разрешение пользоваться фото- и видеокамерами. Однажды получив его, я интерпретировал его с учетом озвученных ограничений (например, не мешать молитве сильным приближением) как карт-бланш на постоянные съемки. И потом я уже никогда не расставался с камерами, снимая в самых разных обстоятельствах. С одной стороны, с моим присутствием в качестве своего рода репортера руководителей общин согласились, с другой стороны, позировать все время нормальный человек не в состоянии. В результате появилась возможность делать нормальные репортажные съемки. Разумеется, это моральный компромисс. Но если на него не идти, тогда надо не исследования проводить, а писать книги о научной этике.

Съемки в открытом публичном пространстве порождают схожие проблемы. Человек вышел на улицу не для того, чтобы попасть в мой кадр, который не известно где и с какими комментариями появится. В современной журналистике широко распространен жульнический прием: показывают простейшие кадры, снятые на улице какого-то города, и попутно рассказывают о каких-то проблемах, которые никак не соотносятся с видеорядом. Нередко можно увидеть фильмы, в которых рассказывают о проститутках или наркоманах, а показывают обычных людей, снятых на улице. Не будет ничего удивительного, если девушка, которая увидит себя в телеэкране как видеофон для сетований по поводу роста проституции,

захочет разбить камеру тому, кто ее будет снова снимать на улице. Но если всех, кто попадает в кадры уличной съемки, спрашивать о разрешении, то лучше вообще не снимать. Поэтому снимай открыто, чтобы каждый, кому это не нравится, мог вовремя сменить маршрут или отвернуться.

Правда, этот прием подходит далеко не всегда, поскольку ведет к искажению реальности. И опять неразрешимое противоречие между моралью и профессиональным долгом. Выход, как мне кажется, в соблюдении общего принципа «Не навреди!». Если вреда не предвидится, то я смело иду, нарушая частные этические нормы, которые далеко не всегда связаны с моралью, например, снимаю от бедра или скрытой камерой. Разумеется, полной гарантии безопасности я дать не могу, так как не исключаю того, что в публично презентуемом кадре появится человек, который с точки зрения его начальства или близких не должен находиться в этот момент в этом месте и в этой компании.

В Северной Корее нашу группу из четырех человек сопровождали трое (не знаю, как их назвать одним словом). Хозяева жестко контролировали презентацию своей страны. Разрешали снимать только парадные объекты. Как-то я не сдержался и иронично удивился: «Когда в России посмотрят мой фильм и фотографии, меня спросят, а в Корее есть корейцы или только монументы?». Сопровождающие лица усердно исполняли свои обязанности по контролю наших впечатлений. Как писал один западный автор, если после поездки путешественник опубликует негативный материал, особенно с реалистическими фотографиями, то у гидов будут серьезные проблемы. Таким образом, моральное чувство заставляло меня снимать только монументы великому вождю, а циничный профессионализм принуждал ходить с включенной камерой и снимать от бедра, попутно отворачиваясь в противоположную сторону, ощущая себя подлым шпионом. Я приехал из Кореи с полным блокнотом впечатлений, несколькими видеокассетами и гигабайтами фотоснимков. И меня мучает дилемма: оставить все это в семейном архиве или как-то обнародовать, что чревато последствиями для тех людей, которые самоотверженно делали все, чтобы мне понравилась их страна.

Исследование подвергается главному моральному испытанию в момент **обнародования результатов**. С тобой беседовали в частном порядке, но деньги платят не за частный треп, а за выдачу на-гора информации для широкой публики. Возникает серьезное противоречие между моральными принципами и профессиональным долгом. Если держать в уме «золотое правило» морали, то в большинстве случаев противоречие можно

разрешить, обеспечивая анонимность информантов. Передо мной откровенничал частный индивид, а я цитирую анонимных информантов. Значит, навредить ему я не могу. Это правило легко соблюдается при работе с т.н. «простыми людьми», которые так сливаются с толпой, что ни один сыщик потом не вычислит, кто мог сказать слова, процитированные в книге.

Гораздо реальнее смотрится моральная проблема при работе со «штучными» информантами. Как бы я ни зашифровал их имена, они легко вычисляются по косвенным уликам, которые нельзя скрыть, не превращая отчет об исследовании в пустые фразы. Один из приемов решения проблемы — согласование с информантом границы, отделяющей информацию, которую он согласен обнародовать со ссылкой на свое имя, от той, которую он дает с оговоркой «это между нами». Последняя информация нередко очень важна. Один из выходов в том, чтобы давать ее без ссылки на источник, что может поставить в щекотливое положение исследователя: эти данные могут интерпретироваться как его измышление, как фантазии, а он не имеет морального права ответить, предоставив кассеты с записью. Иначе говоря, прикрывая источник, исследователь вызывает огонь на себя. Ну, что ж, у каждой профессии есть свои издержки. Нарушить же договоренность о приватной зоне — значит прямо погрешить против «золотого правила». Порой зона приватного покрывает самое важное в интервью. В таких случаях я откладываю информацию в долгий ящик: сегодня будет совесть чиста, а завтра ее щекотливость исчезнет хотя бы в силу того, что время часто превращает «штучного» информанта в никому не интересного и никому не известного персонажа из прошлого. Даже больших чиновников время впечатывает в толпу до полной неразличимости.

При публикации результатов порою возникает еще одна щекотливая дилемма. Информант говорил со мною, надеясь, что я его единомышленник (ведь я же не спорил и даже кивал головой). Но мои выводы из того, что я услышал, могут быть совершенно иными. Не исключено, что он воспримет меня как лазутчика из вражеского стана. А поскольку при изучении конфликтов приходится общаться с представителями всех сторон, то что бы я ни написал, кому-то это все равно не понравится, и он может воскликнуть: «А ведь я перед этой сволочью душу открыл! Чаем его поил! А он!».

С такой ситуацией я столкнулся при работе над книгой «Власть и уголь», посвященной шахтерскому движению Воркуты. Я кругами ходил между людьми, которые друг с другом не злобовались, а за глаза обозначали противников в самых уничи-

жительных терминах. И все принимали меня очень хорошо, все были более или менее откровенны. Честно говоря, я боялся момента, когда книга будет опубликована и попадет к моим информантам. Можно было, конечно, там больше не появляться. Но я взял книги и сам поехал в Воркуту. И совершенно неожиданно для меня люди из разных лагерей мне потом говорили: «Конечно, я не во всем с тобой согласен. Кое-где ты зря им уделил так много внимания. Но в целом написано правильно». Выход из ситуации, которая казалась тупиковой, я нашел, честно цитируя принципиальные позиции каждой стороны, а их слабости подчеркивая контраргументами оппонентов. Интерпретации событий каждой из сторон накладывал друг на друга. В результате то, о чем умолчали одни, прозвучало в книге в виде цитаты из интервью с другими или в форме фактов, заимствованных из уже забытого архива. Возникла картинка, которую можно образно обрисовать в качестве цветка с несколькими лепестками. В центре — зона интересубъектности: здесь презентации ситуации разными источниками совпадают. А «лепестки» — это несовпадающие интерпретации, подаваемые со ссылками на источник. Разумеется, преувеличивать дипломатичность моей книги я бы не стал. В целом ряде мест мне приходилось прямо высказывать свое мнение, отличное от позиции каких-то моих информантов. Но тестом на научную порядочность была готовность моих прежних информантов после прочтения книги снова давать интервью уже по новому проекту. Ни одного отказа не было.

Особый вопрос — *согласование результатов* исследования с информантами. Если информантам давать право вето, то во многих случаях исследование теряет смысл. Дилетант получает право корректировать ход процесса, в котором он не разбирается. Такая ситуация порою возникает при работе с фирмами и государственными органами: они хотят правду знать, но правда должна быть при этом приятной. Иной вариант коммерческой или государственной цензуры — запрет на обнародование результатов. Во многих случаях это ограничение убивает смысл научного исследования, превращая его во внутрифирменный процесс. Но иногда такие ограничения можно принимать, для того, чтобы понять механизмы, которые иными путями с близкого расстояния не увидишь. Результаты же можно обнародовать, уходя от конкретики. Правда, они будут смотреться как голословные абстрактные рассуждения. И только те, кто знает, что автор не высосал эти выводы из пальца, отнесутся к ним с доверием. В любом случае исследователю стоит решать до начала исследования, принимать ли предлагаемые правила игры или отвергнуть. Нарушение же догово-

ренностей в науке ничем не отличается заслуживаемой квалификацией от нарушения слова в любой иной сфере.

В ряде случаев ознакомление (не согласование!) информантов с предварительным текстом отчета имеет рациональный, а не этический, смысл: они могут увидеть ляпы и уберечь исследователя от их обнаружения.

Разговоры о **формализации моральных норм**, давно ведущиеся в журналистике и частично материализованные в законодательных актах, начинают вестись и в рядах социологов и антропологов. И здесь есть серьезный риск. Если публиковать официальные соглашения, кодексы и т.п., то они не могут допускать моральных компромиссов. Такие документы всегда конструируют ангелов без страха и упрека. И перед исследователем будет стоять реальная дилемма: кем быть — бесплодным ангелом или действующим исследователем? Любая профессия имеет свои моральные издержки, и лишь тот, кто ей серьезно не занимается, может гарантировать, что таких издержек не будет. Может ли врач поклясться, что от его скальпеля или лекарств никто не умрет? Может ли учитель гарантировать, что на поставленную им двойку кто-то не отреагирует попыткой самоубийства? Исследователь, как хирург, вскрывает ткани, которые многие хотели бы превратить в непроницаемую броню. И если эти желания неукоснительно уважать, то никто не заметит, как общество, защищенное принципами моральной корректности, неприятно запахнет. Исследователь часто играет роль, схожую с той, которая свойственна хирургу: пациенту не очень приятно, но потаенная болезнь гораздо страшнее. Для исследователя таким пациентом является общество.

КАТРИОНА КЕЛЛИ

В моем университете лишь недавно приняли этический кодекс для ученых, занимающихся полевыми исследованиями в таких областях, как антропология, устная история и лингвистика. Этот кодекс был создан на основе системы регуляции, разработанной для медицинских исследований. Так, в форме допуска, которую нужно заполнить, есть вопрос: *связана ли ваша работа с «использованием органов или иных материалов человеческого тела»*, взятых у «пациентов», с

Катриона Келли
(Catriona Kelly)
Оксфордский университет,
Великобритания

которыми вы работали в прошлом или работаете сейчас». Это лишний раз напоминает о том, что в британской науке наиболее ожесточенные споры — помимо экспериментов над живыми животными — вызывают исследования, связанные с использованием сохраненных человеческих органов. Особенно это касается тех случаев, когда становится известно, что некая больница взяла образцы тканей, не получив на это согласия самого пациента или его/ее ближайшего родственника.

Абстрактные принципы, сформулированные в этом кодексе, вполне непротиворечивы и последовательны. Никто не сомневается в том, что необходимо получать специальное разрешение на исследования, которые связаны с *«введением участников в заблуждение»*. Бесспорно, что исследователям стоит всерьез обдумывать *«потенциальные риски или реальные неблагоприятные последствия»*. Но помимо добродетельных наставлений о том, что не следует причинять вреда информантам, есть вопрос действительно скользкий: что нужно сделать, чтобы предотвратить этот вред. Способно ли применение подобных кодексов выйти за рамки чисто символического, формального регулятора интеллектуальной деятельности, оглядываясь на который руководитель исследования ставит в соответствующих местах галочки против «да» и «нет», после чего все идет своим чередом? И если да, то не превратится ли этический кодекс не только в бюрократическую помеху, тормозящую начало проекта, но и в препятствие на пути его развития?

Вопрос о контроле над исследованиями несомненно дает повод для серьезных размышлений. Политический климат современной Британии определяет жесткую связь между получением финансовой поддержки от общества и общественной доступностью. Пользующиеся субсидиями музеи и художественные площадки обязаны измерять число посетителей, университеты — обеспечивать рост числа студентов из числа социально обездоленных слоев населения. Представление о том, что ученый должен быть внимателен к людям, которых изучает, что неприемлемы исследования, проводимые без ясно выраженного согласия тех, на кого они могут повлиять, связано с общим идеалом широкой демократии. Однако решая, на кого исследование «влияет», а на кого нет, мы можем столкнуться с потенциально серьезной проблемой. Может быть, речь идет о том, что деньги общества нельзя использовать для финансирования исследований, которые широкие слои этого общества (или его часть) почему-либо считают для себя оскорбительными, несмотря на всю их возможную полезность с точки зрения научных открытий и прогресса знаний? Очевидно, что вместе с вопросом о праве на неприкосновенность частной жизни должны рассматриваться вопросы свободы информации и роли акаде-

мического сообщества в ее обеспечении. Но пока, во всяком случае в Британии, это едва ли происходит. Если журналисты для оправдания тех своих действий, которые считаются вторжением в частную жизнь, постоянно апеллируют к «общественному интересу», то в академической среде только начинают прибегать к таким аргументам. Насколько мне известно, в Британии существует лишь одно Общество Защиты Исследований, основанное биомедиками <<http://www.rds-online.org.uk/>>, и своим возникновением оно обязано сильнейшему давлению со стороны защитников прав животных, которое доходит до физических угроз и реального насилия. Память об исторической связи между знанием и властью полезна для ученых, однако цепь, связывающая знание и власть, возможно, находится вне академии. Больше соответствует действительности картина, которую нарисовал почти тридцать лет назад Режис Дебре: культурная гегемония ускользнула из академических институтов, и теперь ученым остается или бороться за свое право на автономность и ведущую роль в так называемой «экономике знаний», или распрощаться с ними.

Отдавшись во власть параноидальных мыслей, можно даже предположить, что институализация правил на уровне академических институтов связана не столько с истинной заботой о благополучии информантов, сколько с желанием обезопасить университеты от судебных исков. Интеллектуальная ответственность — понятие постоянно расширяющееся, недавно в него вошла такая сфера, как право сфотографированного объекта на собственное изображение. Понятно, что цитирование чьих-либо слов или даже описание его/ее поведения также в принципе могут быть поводом для обращения в суд¹. Другая параноидальная мысль: рост числа комиссий по этике — это всего лишь слишком хорошо знакомое употребление чиновничьей власти по отношению к тем, кто занимается собственно исследованиями. Одно дело, когда профессиональная организация вырабатывает, путем широких консультаций, свод правил, распространяющихся на ее же членов, и совсем другое, когда такой законодательный кодекс навязывается сверху, администрацией университета, особенно если основополагающие законы пишутся людьми, не имеющими опыта работы в данной конкретной исследовательской области².

¹ Интересные размышления о коммодификации личных изображений и связанном с этим изменением их юридического статуса см. в [Frow 1998].

² Оксфорд пытается избежать этой проблемы, поощряя различные дисциплинарные органы представлять для спорных случаев собственные «протоколы», которые могут содержать отсылки к этическим кодексам профессиональных ассоциаций и таким образом свидетельствовать о том, что возможны различные представления о потребностях и ограничениях, в зависимости от конкретных людей — объектов исследования. Поскольку получение

Но утверждать, что в ужесточении контроля виноваты этические кодексы, — это переворачивать ситуацию с ног на голову. Действительно, бывают положения, когда кодексы поведения становятся, как говорили во времена Советского Союза, инструментом «мелкой опеки», однако такой тип подхода при необходимости всегда изыщет иные средства для своего осуществления. Чтобы почувствовать пользу кодекса, нужно поставить себя с другой стороны — что нетрудно сделать, поскольку в современном урбанистическом обществе всякий «исследователь» ведет параллельное существование чьего-нибудь, чаще всего докторского, «объекта исследования». Я сохранила яркое и неприятное воспоминание о беседе, имевшей место двадцать лет назад в гостиной оксфордского колледжа. В ответ на обычный вежливый вопрос о том, как прошел день, мой собеседник (биолог, приглашенный из другого университета) пустился в пространные жалобы на утро, потраченное впустую из-за того, что какая-то «тупица» в больнице не могла решиться на аборт и этим задерживала поступление зародышевого материала, который ему был нужен для эксперимента. Конечно, этот случай — крайнее, гротескное проявление отсутствия ума и вкуса, но он лишний раз указывает на те опасности, которые таятся в маниакальном преследовании профессиональных целей, принимаемых за безусловное благо.

Впрочем, обсуждение вопроса об этических границах антропологической полевой работы или устной истории лучше начать с несколько другой темы. Ученый-медик, с которым я имела беседу, был весьма знаменит и занимал важное место во властной структуре своей больницы, его нетерпеливое желание получить экспериментальный материал могло (хотя я искренне надеюсь, что этого не произошло) оказать влияние на того, кто стоял в тот момент перед трудным жизненным выбором. Что касается статуса полевых исследователей в изучаемой ими культуре, то он обычно сравнительно маргинален, и если ученому случается причинить вред, то чаще всего по неосторожности. Всем известно, как трудно законодательно нормировать конкретную ситуацию, поэтому польза любых кодексов неизбежно ограничена. Большую роль играют также местные условия: абстрактный совет правильно относиться к информантам не помогает решить сложный вопрос о том, следует ли информантам платить¹. Что каса-

одобрения комиссии по этике стало обязательным только в 2005 г., пока еще слишком рано говорить о том, как эта система будет работать.

¹ Иностранцу в такой ситуации естественно обратиться за советом к местным коллегам, хотя легко представить себе гипотетическую ситуацию, где образованный представитель культуры X сочтет неуместным давать информантам деньги, тогда как информанты из экономически маргинального сообщества останутся в недоумении, почему им не заплатили за потраченное время.

ется того, «как сделать хорошо» (или «как не сделать плохо»), то советы профессиональных ассоциаций¹, обсуждения, подобные организованному нашим журналом, сайт дневников-блогов, недавно открытый ASA (American Sociological Association), или неформальные разговоры с коллегами полезнее, чем регулирование *ex cathedra*, особенно в среде одержимых аудитом британских университетов, где заполнение различных форм зачастую замещает собой рефлексию по поводу методологии и приемов работы. Кроме того, этические вопросы исследований в антропологии и устной истории явно выходят за рамки базовых принципов, артикулированных в кодексах поведения. Например, совершенно вне их рамок остался нынешний всеобщий интерес к «коллаборативной антропологии». В лучшем случае (и этот лучший случай совсем не плох) кодексы могут быть набором рабочих принципов, полезных для концептуального обдумывания будущих проектов и стимулирующих обсуждение вопросов профессиональной этики, однако их нельзя воспринимать как законодательную основу, регулирующую все возможные ситуации.

Кодексы, будучи абстрактными декларациями принципов, неизбежно упрощают реальность, что приводит к появлению «серых» областей. Например, принципы, на которых основываются эти кодексы, отражают (и можно сказать, тем самым насаждают) традиционную точку зрения на исследование как встречу образованного представителя социальной и интеллектуальной элиты с культурно «другим». Но разве глава компании или политик — тот же тип «объекта исследования», что мигрант, дорожный рабочий или проститутка? Исследователи, занимающиеся практической работой, знают, что принципы защиты информантов разнятся. Понятно, почему в недавнем антропологическом исследовании европейских фашистов [Holmes 2000] лица названы по именам и дана весьма нелицеприятная оценка политической зрелости и интеллектуального развития некоторых из них. От кодексов как таковых мало пользы, когда нужно решать, этично ли «назвать и заклеить» информанта или высказывание такого отношения станет авторитарным жестом со стороны исследователя и даже может «нанести вред».

Сама я не испытываю желания выставить своих информантов «на позорище» или «обличить» их, однако должна признать,

¹ Например, у британского Общества устной истории есть полезный сайт в Интернете, где можно найти советы о том, как разговаривать с информантами, решать вопросы авторского права, почерпнуть сведения об учебных курсах по устной истории, проводимых Обществом, найти ссылки на другие веб-сайты по устной истории и проч.

что в работе с людьми мне приходилось наткнуться на «серые зоны» иного рода¹.

Когда вам нужно, чтобы человек просто рассказал о себе, процесс сбора данных относительно прост и очевиден. Конечно, иногда приходится иметь дело с информантами, у которых личные воспоминания вызывают стыд или сопротивление, это в первую очередь мужчины — женщин среди информантов больше не только потому, что они живут дольше, но и потому, что они охотнее говорят о прошлом. Но в общем и целом если информант в принципе соглашается на интервью (и я, конечно, никогда не стала бы принуждать того, кто испытывает серьезные сомнения²), то говорит он охотно. Часто казалось, что информанты испытывают внутреннее облегчение, находя собеседника, с которым можно поговорить о прошлом, не боясь столкнуться с раздражением, осуждением или даже скукой, какие вызывают подобные рассказы у друзей и родственников. Редко кто неправильно понимал вопрос или реагировал враждебно, хотя, конечно, обязательно нужно было выдерживать беседу в словесных формах, созвучных тому периоду жизни, о котором вспоминал информант (этот вопрос в дискуссиях об этике не затрагивается, но он важен)³. Интересно, что серьезное беспокойство о последствиях интервью информанты (несмотря на маргинальный статус некоторых из них) в общем высказывали реже, чем профессиональные работники сферы детского воспитания. Видимо, во втором случае причиной был застарелый и болезненный опыт столкновений с

¹ Речь идет о проекте по устной истории, финансировавшемся Leverhulme Trust, грант № F/08736/A, «Детство в России: социальная и культурная история». Сама я проводила не все интервью, точнее — большую часть собрали другие интервьюеры (из примерно 150 информантов, проинтервьюированных к моменту начала работы, мною было опрошено около 30), но наблюдения, о которых идет речь здесь — это результат моего непосредственного опыта, который, как мне кажется, в общем совпадает с опытом других участников этого проекта. Полученные нами и отчасти структурированные интервью были разительно схожи по методологическим принципам и по уровню взаимодействия, которого удалось достичь между интервьюерами и информантами.

² Говоря о «серьезных сомнениях», я имею в виду не то, что можно назвать топосом скромности, часто встречающимся у потенциальных информантов: «Кому может быть интересно мое самое заурядное детство?» (в таких случаях достаточно просто ободрить человека) — а сомнения, связанные с тем, что детский опыт мог быть травматичным, воспоминания о нем — мучительными.

³ Большинство интервьюеров имело образование в области этнографии и культурной истории, т.е. там, где большую роль играют вопросы риторики и стиля. Мы лишь однажды столкнулись с серьезной стилистической проблемой, работая с интервьюером из другой научной области — психологии: проигнорировав стандартный вопрос об опыте «любви», он прямо спросил пожилого мужчину, мастурбировал ли тот, будучи подростком. Естественно, что упоминание такого рода «запретной темы» (т.е. такой, о которой дети не говорят с чужими и которую не принято было упоминать в культуре того времени, о котором вспоминал информант — 1940-х гг.) вызвало серьезное смущение, и информант вскоре резко прервал интервью, сославшись на усталость. С этим интервьюером мы тут же расстались.

искажающим освещением их работы в прессе (искажения эти происходили в одном направлении до перестройки, в другом — в годы ее претворения). Кроме того, возможно, в этой области — как в России, так и, можно предположить, в западных странах — конфиденциальность считается важным элементом профессионализма.

На этой стадии работа с информантами не дает поводов для беспокойства о возможности вторжения в их частную жизнь и причинения вреда, о чем говорится в этических кодексах. В то же время, даже имея дело с такой по видимости безобидной темой, как детство, можно наткнуться на конфликтные и проблемные точки. Воспоминание о детстве связано с погружением в себя, и в какой-то момент в памяти информанта может всплыть забытый опыт, воскрешение которого вызовет поток болезненных эмоций. Бывало, люди разражались рыданиями, охваченные тоской по ушедшим родителям и по «детству» (идиллическому детству), которого были лишены. Кого-то охватывало острое беспокойство или стыд за проступки, совершенные много лет назад (вроде кражи яблок из чужого сада), или когда они рассказывали, с явным страданием, о том, как их мучили родители-алкоголики или садисты, или вспоминали, какую боль причинили им другие члены семьи, отказавшись от ребенка, мать или отец которого были объявлены «врагами народа». Временами я с беспокойством думала о том, что интервьюер, спровоцировавший поток воспоминаний, уходя, оставляет информанта наедине с его печальным прошлым. Психотерапию часто называют «говорящим лекарством», однако я не уверена, что выговариваться всегда полезно, особенно если человек сам приспособился заглушать боль или это принято в культуре, к которой он принадлежит. Абстрактные утверждения о невмешательстве в жизнь информантов мало помогают понять, как свести к минимуму такого рода ущерб. И я вовсе не уверена, полезен ли для таких интервью этический «баланс» положительных и отрицательных моментов — думаю, что в этом усомнятся и многие из наших информантов.

Возможность промаха, недопонимания или оскорбления (которые могут интерпретироваться, да и на самом деле являются, формой эксплуатации) многократно возрастает в тот момент, когда исследователь решает опубликовать собранные материалы. Тот, кому устная история нужна лишь как часть общего исторического исследования, легко мирится с анонимностью, поскольку при преимущественном внимании к типичному в истории такие биографические сведения, как возраст, пол и социальное происхождение, играют гораздо более важную роль, чем конкретные подробности происхождения информанта. Достаточно сообщить: «деревня, Новгородская область» — нет

нужды, в противоположность исследованиям частных случаев, приводить точное название деревни, давая возможность местным жителям легко идентифицировать информанта (тут и псевдоним не помогает — местная молва расшифрует его мгновенно, хотя и не всегда правильно). Тот, кто занимается исследованием общей исторической проблематики, сталкивается скорее с проблемой противоположного рода — с деперсонализацией. Заветные воспоминания отдельного человека нужно поместить в рамки общей аналитической структуры, т.е., проще говоря, вырвать их из контекста. Чей-то ключевой жизненный опыт — воспоминания о том, как во время войны чудом удалось спастись от голодной смерти — превращается в «историю выживания № 49». Всякий, кому доводилось давать интервью, знает, что, увидев собственные слова внутри контролирующего журналистского нарратива, с чужим «поворотом», неизбежно испытываешь раздражение. Иногда отчуждение способен вызвать один вид своих «непричесанных» слов в печати. Кроме того, информанты не всегда бывают довольны компанией, в которую мы их помещаем: вспоминаю рассказ Бориса Соколова о фольклорной экспедиции в 1920-е гг., когда женщина, вначале утверждавшая, что никаких формальных причитаний не знает, услышав вариант другого информанта, воскликнула: «*Да какая дура Вам так сказала?*». В этом случае раздражение, вызванное чужими словами, подтолкнуло женщину самой выступить в роли информанта, однако такое же раздражение способно принимать менее плодотворные формы, если оно возникает при чтении уже опубликованного текста.

Работать над вариантами интервью в прямом сотрудничестве с информантами, не навязывая интерпретативную рамку, — вот один из возможных подходов. Однако таким образом мы просто откладываем процедуру обобщения до того момента, когда другой историк воспользуется собранными нами личными историями в качестве материала. В результате получается нечто вроде автобиографии, написанной литературным «негром»: вся соль речи исчезает, а вместе с ней иногда интересные индивидуальные мотивы, характерные колебания, отказы и оговорки (см. об этом [Гучинова 2005]). Конечно, заглядывая в будущее, хотелось бы (с согласия информантов, которое во всех известных мне случаях считается необходимым¹) найти

¹ Один интервьюируемый попросил меня архивировать материал только за пределами России и выбрал для себя вместо подлинного имени псевдоним (человек, о котором идет речь, был гомосексуалистом и опасался преследований в случае, если бы его анонимность была раскрыта); другой интервьюируемый, на этот раз выходец из ортодоксальной еврейской семьи, выросший при советской власти (ситуация исключительно редкая), попросил меня не раскрывать имен в печати, но не стал накладывать никаких ограничений на архивирование. В любом случае все интервью из этого проекта будут открыты для будущего исследования только в анонимизированной форме и лишь для исследователей *bona fide*.

какой-нибудь способ сохранять наряду с отредактированными вариантами дословные расшифровки. Они представляют разные типы аутентичности, кроме того, представления о том, что прилично говорить и публиковать, с течением времени претерпевают изменения. Может быть, следует давать информантам возможность «усовершенствовать» свои утверждения перед публикацией (чтение дословных расшифровок того, что сам наболтал, — опыт по-настоящему шокирующий). Несомненно, наш долг перед будущим — сохранить их в неретушированном виде.

Пер. с англ. Марии Маликовой

Библиография

- Гучинова Э. У каждого своя Сибирь. Два рассказа о депортации калмыков // Антропологический форум. 2005. № 3. С. 400-442.
- Frow J. Time and Commodity Culture. Oxford, 1998.
- Holmes D.N. Integral Europe: Fast-Capitalism, Multiculturalism, Neo-Fascism. Princeton, 2000.

ЖАННА КОРМИНА

В своих ответах на предложенные редакцией вопросы я остановлюсь на трех сюжетах, которые могут показаться маргинальными для затеянной дискуссии. Вместо того чтобы рассуждать о власти ученого над информантом и необходимости ее ограничения, я буду говорить о власти и насилии над исследователем. В первой истории пойдет речь о моральных дилеммах, возникающих в результате конфликта между идентичностями исследователя-полевого как гостя и как ученого. Это внутренний этический конфликт, от которого страдает по большей части сам исследователь. Вторая история — об опасности очарования традицией. «Синдром Кастанеды» — результат власти материала над исследователем. В последнем сюжете обсуждается вопрос своевременности дискуссии об этических проблемах среди отечественных полевых исследователей.

**Жанна Владимировна
Кормина**
Санкт-Петербургский филиал
Государственного Университета —
Высшей школы экономики

Цена гостеприимства

Отлично помню первую в своем полевом опыте этическую дилемму. В первой в моей жизни экспедиции я, тогда аспирантка второго года обучения факультета этнологии ЕУСПб, неожиданно для себя оказалась начальником небольшого отряда из четырех человек в составе фольклорной экспедиции СПбГУ. Мне доверили троих студентов младших курсов университета, сообщили название деревни, где мы должны были остановиться (это было уже проверенное место), и имя человека, который должен был нас принимать. Таким человеком оказалась, как водится, директор местного клуба, взявшая от лица деревни над нами шефство. Она поселила нас в пустующем здании бывшей библиотеки. Ничейная территория, все эти закрытые на лето или за ненадобностью детские сады, школы и библиотеки как нельзя лучше соответствуют нашему, чужаков, месту в социальном ландшафте деревни или поселка.

Одна из причин сомнений полевого исследователя в этичности своего поведения кроется в простой невозможности реципрокности, ответного дара в обмен на гостеприимство. Не каждый из нас (хотя мне известны и такие случаи) готов обеспечить кров и пищу и просто потратить время на бывшего информанта, неожиданно вторгающегося в нашу городскую жизнь. Об остром ощущении не-реципрокности (читай — несправедливости по отношению к информантам) писал британский антрополог Морис Блок в своей работе о символике денег у мерина, этнической группы, населяющей центральный Мадагаскар. Когда он после полевого сезона стал собираться домой в Англию, глава семьи, с которой он сдружился, вручил ему крупную по местным меркам сумму на дорогу. Блок, крайне смущенный этим обстоятельством (вернуть деньги было бы оскорблением для дарителя), дар принял и описал эту историю в блестящей статье, где проанализировал причины своего смущения. Их две: разная культура отношения к деньгам (у европейца дать/взять в долг — верный способ потерять друга, у мерина — наоборот) и неравенство статусов информанта и исследователя, а поэтому ощущение себя вдвойне должником [Bloch 1989].

Наша зав. клубом, в отличие от дарителя Мориса Блока, предоставила нам возможность реципрокности. Однажды вечером она зашла к нам и пригласила поучаствовать в концерте, который должен был состояться в местном клубе по случаю престольного праздника. Мы помялись, но, поскольку отказывать было как-то неудобно (вот они, моральные обязательства, следующие за даром!), согласились. Сомнение в правильности такого решения объясняется тем, что уже

тогда я подозревала (не могу говорить за моих коллег — по моему, сомнения мучили главным образом меня, вероятно, как лицо, назначенное быть ответственным), что в увлекательном деле включенного наблюдения непросто соблюсти хрупкий баланс между «участием» и «наблюдением». В общем, в разгар престольного праздника я бы предпочла оказаться в зрительном зале, а не на сцене сельского клуба. Однако от нас ждали другого, и мы, поколебавшись, решились. Теперь я знаю доподлинно, что традиция этих праздников не умерла до сих пор (о том, какими они были в советское время, см.: [Вадейша 2001]). Через неделю репетиций с баянистом, который приходил к нам вечерами вместе с другими артистами, отрывая от полевых дневников и сокращая время ужина, наступил наконец престольный праздник нашей деревни (кажется, это был Петров день). Наибольший фурор на концерте вызвала местная пожилая пара, исполнявшая частушки, по большей части «срамные»; гармошка совершенно перекрывала голос певицы, но зрителей (был полный аншлаг) это обстоятельство ничуть не смущало. Они явно знали эти тексты, во всяком случае, смеялись они на удивление дружно, видимо, в нужных местах. Пропуская подробности разгула (всех артистов заставили выпить самогона перед выходом на сцену, публика тоже не отставала), упомяну лишь этнографически симпатичный, хотя по-человечески малоприятный эпизод. Какой деревенский праздник без драки! В молодом человеке, который был в составе нашей группы, местный дембель (он так и представлялся: я N, «только что с армии вернулся») заподозрил соперника в любви. Этот надуманный конфликт замечательным образом соответствовал сюжету популярной тем летом песенки «Студент», в которой приехавший в деревню на лето студент уводит у лирического героя — «простого пацана» — его девушку. В общем, драка почти состоялась; в результате наш студент потерял ключи, и мы под дождем на глазах у, как нам казалось, всей деревни, взламывали дверь в нашем временном жилище. Наутро было чувство глубокого сожаления о том, как был прожит вчерашний день. Не помню уже, кто нам починил дверь — то ли муж нашей благодетельницы, то ли тот самый дембель-ревнивец. Все закончилось хорошо, но я и сейчас уверена, что из зала мы бы увидели больше, чем со сцены.

Этот эпизод из будней полевой практики запомнился мне, наверное, потому, что ни в одной из последующих экспедиций мне и моим коллегам не делали такого рода предложений. Никогда больше я уже не оказывалась в позиции внучки, приехавшей на лето из города. Это одна причина. Другая — мне пришлось делать то, чего совсем не хотелось; это история

о мягком, но все же насилии со стороны информантов, насилии, легитимность которого продиктована правилами реципрокности и, следовательно, нашей морального свойства зависимости от информантов.

Синдром Кастанеды

Именно в своей первой экспедиции я столкнулась с тем, что позднее и в другой экспедиции кто-то метко окрестил «синдромом Кастанеды». Как я понимаю теперь, этот синдром не так уж редок среди этнографов-полевиков. Причина его кроется все в том же нарушении баланса между физической включенностью в наблюдаемую реальность и аналитической отстраненностью от нее. Особенно опасны в этом отношении в ландшафте «поля» локусы этнического эзотерического знания, а именно народная медицина, «колдовские» практики и особенно шаманизм. Сам Карлос Кастанеда в вышедшей в 1968 г. и ставшей бестселлером книге «Учение дона Хуана» представляется антропологом, который поехал собирать информацию об используемых индейцами лечебных травах и встретил индейца яки, дона Хуана, ставшего, говоря антропологическим жаргоном, его ключевым информантом [Кастанеда 2004: 31]. Книга имитирует полевой дневник, в котором показано перерождение студента-антрополога в практикующего мистика. Кастанеда познал путь индейцев яки — естественно, перестав быть антропологом (если он им когда-нибудь был). Так что синдромом Кастанеды мои друзья и коллеги окрестили утрату необходимой для профессионала способности к рефлексии, неразделение исследователем себя и объекта изучения.

Чем экзотичнее традиция, тем выше опасность появления этого синдрома, и никакие академические институты не преграда для его возникновения. Не так давно на сайте московского Института этнологии и антропологии красовалось объявление о загородном семинаре по шаманизму, в программу которого входили шаманские тренинги. Как мне рассказывали очевидцы, объявление не врало: все так и было. Я знаю одного профессионального этнографа, также сотрудника академии наук, поверившего в свою колдовскую силу и ставшего практикующим колдуном. По слухам, он пользуется большой популярностью у клиентов — ученый все-таки.

Однако вернемся из академии в университет. Срок нашей практики подошел к концу, и мы приехали на вокзал в неприветливый город Череповец, чтобы отправиться домой. В поезде мы узнали, что в другом отряде заболела девушка — у нее поднялась температура, начался фурункулез. Обще-

ственное мнение экспедиции поставило ей диагноз, не предполагавший медикаментозного лечения: *кила*. Кажется, ей все-таки давали какие-то антибиотики, но старшие в ее группе всерьез сожалели, что не успели сводить к местной знающей, которая одна могла бы избавить несчастную от страданий. Высказывались и предположения о том, кто и при каких обстоятельствах мог наслать эту самую килу. *Килой* — в местной традиции называют порчу, которая материализуется на теле в виде опухоли или нарыва. Ее колдун посылает по ветру, так что она может попасть и на случайного человека — как, по всеобщему мнению, случилось с нашей больной. Кажется, этот фурункулез был не первым в ее жизни, он был следствием какого-то известного медицине и самой нашей больной заболевания, чреватого периодическими обострениями. Однако мистически настроенные после полевой практики студенты, записывавшие рассказы о передаче *знания* и определенно мечтавшие сами что-нибудь такое перенять, не сомневались в том, что это *кила*. Сама больная тоже в это, кажется, верила. Тут вступала в действие описанная Эвансом-Причардом логика азанде: в том, что упал амбар, виноваты термиты, подточившие столбы, на которых он стоял; но вот в том, что он упал в определенный момент на определенного человека, виновато колдовство [Эванс-Причард 1994]. Синдром Кастанеды может появляться как результат неудачной профессиональной инициации. Это такое погружение в другую культуру, после которого не выплывают. Во всяком случае, в качестве профессионала.

Нам ли быть этичными?

Дискуссия об этике в западной антропологической науке возникла вместе с крахом колониальной системы, которую антропология когда-то обслуживала и благодаря которой вообще появилась. Сама мысль о том, что в ситуации включенного наблюдения, интервьюирования и особенно в своих статьях и книгах антрополог оказывается в позиции доминирования по отношению к информанту и его культуре в целом, порождена объективными процессами глобализации, превратившими бывшие колонии, которыми надо было разумно управлять, в экономических партнеров и самостоятельных (при всех оговорках) политических игроков, с которыми теперь нужно договариваться как с равными. Иными словами, в глобальном масштабе произошел переход от отношений безусловного доминирования к партнерству. В антропологии с середины XX в. сложилась целая традиция общественного «служения»: много говорится о том, что антропология должна быть полезной обществу, увлекательной (об *engaged*

anthropology см.: [Eriksen 2006]). Говорят также об антропологии сотрудничества (collaborative anthropology, см.: [Lassiter 2005]), имея в виду разные формы сотрудничества исследователя и информанта по производству нового знания. Сложилось целое направление прикладной антропологии со своими журналами, конференциями и активной сетевой жизнью. В этом движении антропологической дисциплины навстречу обществу переплетено многое: тут и простая борьба за рабочие места, и традиционная для западных антропологов политическая левизна и демократичность, и многое другое. Во всяком случае, дискуссия об этичности в западной науке непосредственно связана с социально-политическим и экономическим контекстом, в которых пребывают делающие эту науку люди. Российская же действительность кардинально отличается от западной; у нас нет антропологической традиции — да простят меня коллеги из институтов с соответствующими названиями — поскольку в Советском Союзе на эту дисциплину не было социального заказа (о том, как в СССР этнография погибла, превратившись во вспомогательную историческую дисциплину, см.: [Слезкин 1993]). В настоящее время мы находимся в сложной ситуации: нужно либо все-таки выискивать некую аутентичную антропологию в советской науке и каким-то образом ее продолжать, либо заявить, что мы все начинаем с нуля, и читать, читать, читать западных авторов, прилагая их теории к нашему материалу, как это сделала в своей области наиболее продвинутая часть российских социологов. Так и происходит: есть «почвенники» и «западники», но нет, во всяком случае пока, хоть в чем-то единой дисциплины. Ее становление может произойти только с появлением соответствующих университетских кафедр и факультетов, а это тоже дело будущего.

В своей относительно недавней статье, посвященной конструированию поля в антропологии, Гупта и Фергюссон пишут о процессе постепенного приближения «поля» в географическом и социальном пространстве к исследователю и возникающих в связи с этим проблемах [Gupta, Fergusson 1997]. Вопрос о том, можно ли ездить «в поле» на метро, решается скорее положительно (далеко не всеми, см. об этом [Passaro 1997]), но остается не праздным: отмечается, что с приближением «поля» должен расти уровень рефлексии в полевой работе, необходимо удерживаться от экзотизации, с одной стороны, и банализации — с другой. В отечественной антропологии (этнографии), как уже говорилось, не было периода деколонизации, сопровождаемого осознанием моральной ответственности перед чужой культурой за ее использование. У нас, наоборот, «поле» оказывается слишком близким. И это одно из объясне-

ний, почему вопросы этики кажутся нам не вполне релевантными. Действительно, когда армянские этнографы изучают армян, а осетинские — осетин, они не могут быть этическими или нет. Исследуя «свою» культуру, этнографы как представители национальных элит занимаются общественным служением, оцениваемым безусловно позитивно. Слияние с «полем» происходит за счет идентификации себя с исследуемой культурой, опасное описанием выше синдромом Кастанеды. На самом деле, в полевой работе мы исходим из того, что наши информанты — представители религиозных групп, военнослужащие срочной службы, городские колдуны, деревенские жители — свои, поскольку они тоже учились в советской школе, праздновали со всей страной Новый год, отоваривали талоны в начале 1990-х. В конце концов, они, как и мы, дадут взятку инспектору ГАИ, вышедшему на заработки под вчера установленный «кирпич». Иными словам, мы исходим из того, что имеем полное право на их культурное знание, т.к. это наше общее достояние, просто по каким-то причинам они владеют им чуть лучше. Так что и вопросы этики мало отличаются от морали при построении нормальных человеческих отношений: всех учат в детстве, как вести себя в гостях, и этого обычно достаточно.

Конечно, не желая выглядеть полными провинциалами и дикарями, мы вслед за западными коллегами можем зашифровать имена информантов и населенных пунктов в наших статьях и докладах. Однако самостоятельная дискуссия об этике, которая привела бы к выработке общих обязательных для членов цеха правил, у нас пока не состоялась — возможно, она начнется с этого выпуска «Форума».

Библиография

- Вадейша М.В.* Деревенский праздник: распределение ролей // Гендерный подход в антропологических дисциплинах / Сост. К.А. Богданов, А.А. Панченко СПб., 2001. С. 101–115.
- Кастанеда К.* Учение донна Хуана. Путь познания индейцев племени яки. СПб., 2004.
- Слезкин Ю.* Советская этнография в нокдауне: 1928–1938 // Этнографическое обозрение. 1993. №2. С. 113–125.
- Эванс-Причард Э.Э.* Колдовство, магия и оракулы у азанде // Магический кристалл. М., 1994. С. 30–85.
- Bloch M.* The Symbolism of Money in Imerina // M. Bloch, J. Parry (Eds.). Money and the Morality of Exchange. Cambridge University Press, 1989. P. 165–188.
- Eriksen T.H.* Engaging Anthropology: The Case for Public Presence. Oxford: Berg., 2006.

- Gupta A., Ferguson J.* Discipline and Practice: «The Field» as Site, Method, and Location in Anthropology // A. Gupta, J. Ferguson. Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. University of California Press, 1997. P. 1–46.
- Lassiter L.E.* Collaborative Ethnography and Public Anthropology // Current Anthropology. 2005. Feb. P. 83–106.
- Passaro J.* «You can't take the subway to the field!»: «Village» Epistemologies in the Global Village // A. Gupta, J. Ferguson. Anthropological Locations. Boundaries and Grounds of a Field Science. University of California Press, 1997. P. 147–162.

МИХАИЛ ЛУРЬЕ

2

Вопросы этой группы можно, по сути дела, свести к одному: имеют ли исследователи моральное право обманывать информантов? Если отвечать на этот вопрос односложно, не оговаривая нюансов и не обходя крайностей, то мой ответ будет однозначно положительным. Я думаю, этот случай относится к той категории, к которой применимо понятие «ложь во спасение».

Как известно, целый ряд полевых и экспериментальных методик, в частности в лингвистических исследованиях, изначально построен на том, что информант не знает, как минимум, того, что именно интересует ученого, а нередко и того, что он вообще является для кого-то источником каких-то данных. Антропологу для получения так называемой глубинной информации часто оказывается удобно сократить коммуникативную дистанцию, а в предельном случае это становится необходимым условием для того, чтобы коммуникация вообще состоялась. Из моей собственной полевой практики и опыта ближайших коллег наиболее «жесткие» в этом плане ситуации складывались при исследовании провинциальных подростковых компаний и прихрамового сообщества. Единственный сколько-то продуктивный путь и в одном, и в другом случае — погружение в среду, а это возможно лишь при том условии, что собиратель зарекомендует себя в группе как «свой» (или

Михаил Лазаревич

Лурье

Санкт-Петербургский
государственный университет
культуры и искусств/
Академическая гимназия СПбГУ

потенциальный «свой») и займет в ней определенное место из числа возможных: нового члена группы, активного неопита, авторитетного приезжего — но никак не место беспристрастного наблюдателя или ученого-интервьюера. В этом случае отказаться от использования «легенды» равносильно тому, чтобы отказаться от данного исследования, к чему, как правило, антрополог оказывается готов меньше, чем к жизни под маской.

Требование, чтобы исследователь, прежде чем опрашивать человека, вводил его в курс своего проекта и получал согласие на запись, едва ли может стать универсальным: одно дело, когда антрополог интервьюирует своего приятеля, посвященного в научные интересы интервьюера, и совсем другое — когда он общается с членом преступной группировки. На практике я довольно часто спрашиваю информантов: «Ничего, если мы будем записывать?» — но, главным образом, с той целью, чтобы собеседник с самого начала не косился на диктофон. Так действительно психологически легче обоим. В случае же отрицательного ответа мои действия, имитирующие приостановку записи, выглядят правдоподобнее.

3

Вероятность того, что мы навредим человеку, сообщившему нам некую информацию, если передадим ее огласке и укажем на источник, конечно, есть всегда. Эту возможность должны предвидеть исследователи, нередко она угнетает и самих информантов. Крестьяне нередко просят собирателей не рассказывать односельчанам о том, что они рассказали или спели, предвидя негативную реакцию сообщества на поведение, не соответствующее статусу («засмеют, что я, бабка старая, песни пела тут вам») или попросту опасаясь, что наговорили лишнего о своих соседях («скажут: разводит тут сплетни»; «только вы не говорите, что это я вас к ней послала»). Стоит ли говорить, что нарушить подобное обещание «не выдавать» — очевидное свинство по отношению к человеку, оказавшему тебе доверие. Но этого, как правило, и не требуют научные интересы собирателя.

4

Естественно, что, работая с представителями современных молодежных движений, в частности политизированных и нередко находящихся в состоянии открытой и достаточно серьезной войны друг с другом (напр., наци и антифа), я должен относиться к подобным просьбам о молчании еще более серьезно. Зная, что те или иные мои информанты «шифруются», на ряд сообщенных ими сведений я поставлю собственный гриф секретности.

Если завтра в стране наступят «другие времена», то, наверное, фольклорист, который недавно опубликовал подборку анекдо-

тов или частушек, выставляющих в невыгодном свете действующую власть, вполне обоснованно должен ожидать неприятностей как для себя, так и для исполнителей крамольных текстов, сведения о которых приведены в публикации. И возможность такой ситуации никогда не исключена. Является ли это основанием для того, чтобы, когда «можно», не печатать подобных материалов или не указывать никаких данных об исполнителях, месте и времени записи? Не думаю. История показывает, что люди из органов действительно выступали как собиратели фольклора по отношению к его носителям, но собиратели в качестве людей из органов — только по отношению к своим коллегам. За публикацию сажали ученых, а исполнителей — за исполнение «запрещенки» в своем кругу, а не для фольклористов. При необходимости же и тем, и другим приписывали то, чего они не говорили, не писали, не пели, не исповедовали.

Разумеется, возможны и иные факторы риска. Я хочу лишь сказать, что в опасении «как бы не навредить информанту» имеет смысл учитывать более или менее очевидные ситуации, в которых этот вред возможен, и не имеет смысла пытаться учесть и предотвратить их все разом посредством соблюдения некоей группы правил (не записывать без спроса, не печатать без разрешения, и т.п.).

Не думаю, что аббревиация, замена реального имени вымышленным и тому подобные способы зашифровки данных о личности информанта могут что-то принципиально изменить или от чего-то оберечь. Нормы оформления публикуемых данных — прежде всего вопрос научной традиции, их соблюдение — своего рода знак приверженности этой традиции. Двадцать лет назад глаз резал «паспорт» исполнителя, зияющий пропуском имени, это как будто бросало тень сомнительности на публикуемую запись. Теперь, наоборот, несколько шокирует публикация, в которой информант представлен по полному ФИО: выглядит как-то не целомудренно. Очевидно, что истинное имя, в отличие от половозрастных, социальных, биографических характеристик, само по себе не несет никакой значимой информации об исполнителе, и, наверное, в целом неплохо, что норма меняется в сторону большей анонимности публикуемых записей. Вероятно, такая корректность может отчасти оберечь публикатора от возможных юридических претензий (на российском пространстве таких прецедентов, кажется, до сих пор не было). Однако едва ли стоит видеть в зашифровке имени действенную защиту информантов от возможных неприятностей, реальных или мнимых. Сам себя человек узнает всегда. Один мой знакомый антрополог обнаружил в статье своего коллеги какой-то собственный сюжет,

рассказанный вроде бы не для записи, и серьезно обиделся за несанкционированную публикацию информации личного порядка, хотя в сведениях об информантах были указаны только первая буква имени, пол и возраст. Во-вторых, личность устанавливается по сумме остальных данных, и если некто действительно задается целью идентифицировать и разыскать каких-нибудь АНВ, ДМК или ЛЮП, он сделает это с легкостью.

На мой взгляд, гораздо важнее, чтобы исследователь понимал, что и где он печатает, т.е., во-первых, насколько опубликованное может быть (или казаться) вредным или обидным для информанта, и, во-вторых, насколько велика вероятность, что данная публикация окажется достигаемой для самого исполнителя или для тех, чье знакомство с данными материалами нежелательно или опасно. Возвести в принцип или сделать законом обязательность санкции информанта на публикацию всего от него записанного — едва ли возможная затея. К тому же устное согласие не имеет юридической силы, а просьба подписать специальную бумагу куда сильнее напугает любого интервьюируемого, чем сама перспектива публикации его слов.

То же и с вопросом о знакомстве информантов с публикациями сделанных от них записей: если антрополог предполагает, что это порадует исполнителя, поднимет его в собственных глазах или повысит его престиж, то имеет смысл продемонстрировать издание; если есть опасение, что публикация обидит его, — лучше, если возможно, скрыть факт ее существования. Как, собственно, все обычно и поступают.

5

Я не берусь интерпретировать глобальные исторические и идеологические предпосылки обострения интереса к вопросам полевой этики, имеющего место в последние годы на Западе. Вероятно, так или иначе здесь замешаны и коллизии постколониальных отношений, и набравшая силу (в частности в США) тенденция к «политкорректности» по отношению к этническим, языковым, конфессиональным и прочим социальным меньшинствам. Не исключено, что подобные соглашения, вроде бы направленные на то, чтобы собиратели не обидели информантов, более необходимы первым, чтобы в случае чего застраховаться от необоснованных претензий последних. Вместе с тем эти вопросы имеют и определенные нравственно-психологические основания универсального порядка — о некоторых из них и пойдет речь.

Из существующих профессий наиболее близкий аналог полевой антропологии представляет профессия шпиона. Когда информанты, сохранившие в своем сознании следы шпионофобии 1930–1940-х гг. или хорошо усвоившие уроки культур-

ной продукции того времени, идентифицируют нас именно таким образом («*Что это вы тут ходите, все выспрашиваете? Как шпионы!*»), то не соглашаться, в общем-то, не с чем: действительно, «как шпионы». И дело даже не столько в сходстве способов получения сведений: шпион, как и исследователь, может вынудить то, что его интересует, обманом (выдавая себя за другого или не объясняя своих истинных целей), «по дружбе», может заплатить за информацию, может просто наблюдать и фиксировать. Важнее то, что в любом случае информация нужна ему, а всех своих информаторов он, явно или скрыто, «использует» для ее получения. В антропологическом исследовании та же картина: из участников коммуникации изначально и осознанно заинтересованной, по сути, является только одна сторона, а такая ситуация, с известной точки зрения, уже сама по себе незтична. Это особенно остро чувствуют и порой болезненно воспринимают люди, впервые оказавшиеся в экспедиции (в основном те, кто не имеет собственного исследовательского интереса). За годы руководства фольклорной практикой студентов и гимназистов мне неоднократно приходилось слышать реплики типа «*мы их только используем, так с людьми нельзя*», «*они для нас информанты, а не люди*», «*мы приходим к ним в дом, спрашиваем, что нам нужно, и больше они нам не интересны*» и т.п. Был даже случай, когда студент-новичок не вынес чувства вины перед исполнителями и покинул экспедицию, оставив записку с такого рода нравственными претензиями к собирательской работе. Видимо, неприятие многими фольклористами термина «информант» как циничного и лишённого «человеческой» составляющей имеет в своем основании тот же комплекс вины.

Изменить вышеописанную ситуацию радикально, по-видимому, невозможно, можно лишь попытаться каким-то образом избыть или ослабить вину исследователя перед исследуемыми. Для этого, как кажется, есть два пути. Можно уменьшить степень «морального ущерба», наносимого заинтересованным «субъектом» исследования незаинтересованному «объекту», отводя последнему равноправную или доминирующую роль в отношениях с собирателем. (Так, многие фольклористы, особенно музыковеды, не просто выспрашивают у своих исполнителей те или иные сведения, но как бы «учатся мастерству» или «обмениваются опытом».) Второе, что можно сделать, — чем-то компенсировать этот «моральный ущерб». В практике отечественных ученых, работающих в деревне, эта идея особенно популярна: собиратели, чувствуя необходимость «человечить» отношения с исполнителями и чем-то отплатить им, чрезвычайно охотно берутся передать в городе письмо или позвонить родственникам, прислать лекарства и т.п. А наибо-

лее привычный ответ новичкам с большой совестью сводится к тому, что беседы с собирателями — отрада для одиноких деревенских стариков, испытывающих дефицит внимания (*«их никто, кроме нас, слушать не хочет, так что они сами рады поговорить, тем более о старине»*), и в этом смысле «мы» «им» тоже полезны.

Представляется, что соглашения и руководства по полевой этике направлены, в частности, на решение этой нравственной проблемы и предлагают приблизительно те же пути. Логика уравнивания позиций исследователя и исследуемого, предоставления последним возможности выбора и контроля определяет те положения, которые требуют прозрачности исследования для членов того сообщества, в котором оно проводится, открытости его задач и методик и запрещают записывать что бы то ни было от кого бы то ни было без его ведома и согласия. Исследуемый таким образом посвящается в смысл проекта, фактом своего согласия как бы проявляет к нему лояльность и в какой-то мере оказывается в роли сознательного участника научного предприятия. С компенсаторной идеей связаны предписания проводить по преимуществу те исследования, результаты которых могут принести пользу изучаемому сообществу. В том же ряду традиция платить информантам, как бы покупая у них сведения и тем самым принося им «пользу», создавая необходимую мотивацию и опять-таки переводя информанта из статуса предмета изучения в статус сотрудника, участника проекта, чей труд оплачен.

По-моему, достаточно очевидно, что подобные ограничения и предписания могут иметь смысл и быть полностью реализованы лишь в определенных исследовательских ситуациях, набор которых в любом случае ограничен. Многие существующие корпоративные соглашения (в частности, принятые в США, Канаде) ориентированы на научные проекты по изучению этнических сообществ, конфессиональных общин, социальных групп, имеющих более или менее четкие границы и параметры идентичности. Во-первых, это сообщества, по отношению к которым принято соблюдать повышенную степень политкорректности. Во-вторых, в идеальном случае каждый их член представляет общину, община защищает интересы каждого члена — поэтому и можно говорить о какой-то общей пользе, заинтересованности сообщества в результатах исследования. О какой заинтересованности изучаемой группы в научных итогах проекта по изучению фольклора гопников может идти речь в случае работы с уличной подростковой компанией?

В моем негативизме (или скепсисе) по отношению к документам, регулирующим поведение собирателя, есть, разумеется, и

«личный момент». Поскольку мне самому и наставляемым мною ученикам неоднократно приходилось пользоваться легендой и скрытой записью, вполне естественно, что идея наложить на эти сугубо «шпионские» способы собирательской работы запрет (юридический, корпоративно-конвенциональный или же «жесткий внутренний») не может вызывать у меня особенного сочувствия хотя бы в силу инстинкта самосохранения. Не хочется допускать, что то, чем ты занимался и предполагаешь заниматься, дурно и запретно, а тем более — что какие бы то ни было запреты значительнее твоих исследовательских задач.

Кроме того, мне кажется, что вопрос о «моральном праве» исследователя в рамках своей работы вести себя так или иначе (если его действия, конечно, не вступают в противоречие с правом уголовным) не может результативно и универсально решаться на институциональном уровне. Конвенциональное соглашение может направлять, рекомендовать, предостерегать, но в конечном итоге все решается самим ученым или исследовательской группой. Каждый собиратель, исходя, с одной стороны, из собственных этических, психологических или профессиональных установок, с другой стороны — из конкретных условий и задач своего исследования, сам определяет, будет ли он прятать диктофон в нагрудный карман или попросит подписать бумагу о согласии на интервью, опубликует ли записанное под глухими инициалами в малотиражном научном издании или с указанием полного имени рассказчика в местной газете. Корпоративные договоренности в реальной ситуации едва ли могут служить подспорьем порядочности и здравому смыслу и восполнить их отсутствие.

ЛАРИСА ПАВЛИНСКАЯ

Твой выбор, этнограф

Если свести поставленные вопросы к единому знаменателю, то тема дискуссии необычайно проста и стара как мир — «оправдывает ли цель средства?» Вопрос философский, и на него каждый исследователь дает свой собственный ответ, обусловленный его мироощущением и мировоззрением, которые формирует такое качество личности, как нравственность. Поэтому проблема: что важнее, научная истина или способ ее дос-

Лариса Романовна Павлинская
Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург

тижения, так же, как и последствия того, что она станет достоянием общества в той или иной степени, — постоянно стоит перед представителями всех направлений науки. Именно этим и интересен замысел журнала, тем более, что речь идет о социальной антропологии — науке о деяниях человека.

И сразу же возникает вопрос: а существует ли особая этика полевых исследований? Да, нахождение в иноэтничной среде, безусловно, подразумевает соблюдение исследователем норм поведения, присущих данной культуре. Так, например, не следует, если ты женщина, садиться в традиционном жилище сибирских народов с правой стороны очага, где (согласно их представлениям о структуре космического пространства) располагается мужская часть социума. Но нарушения норм поведенческой культуры, что непосредственно связано с этикой полевой работы, если они единичны, не приводят к глубокому конфликту между исследователем и окружающим его обществом, особенно если этнограф сумеет тактично обыграть свою оплошность и посмеяться над собой. Юмор — великий помощник в межэтническом общении, правда, при условии знания законов смеховой культуры данного этноса. Однако поставленная журналом проблема касается более серьезных вопросов этики поведения, но относятся ли они именно к исследовательской и тем более полевой работе?

Вспоминаю свой первый полевой сезон на Сахалине в составе небольшого этнографического отряда. В один из дней хозяйка дома, в котором мы остановились, в честь руководителя экспедиции и нашего приезда приготовила традиционное ритуальное блюдо «мось» (рыбное заливное с брусникой). Торжество было назначено на вечер, когда в присутствии гостей глава экспедиции должен был разрезать заливное и преподнести по куску каждому из собравшихся. Обстоятельства сложились так, что один из членов отряда должен был покинуть этот поселок в середине дня и, следовательно, у него не было возможности познакомиться с одним из ритуалов традиционной культуры. С этим этнограф не захотел мириться, и всеми правдами и неправдами он заставил хозяйку отрезать ему для пробы кусок приготовленного блюда. Никакие наши доводы о том, что этого делать нельзя, что это нарушение ритуала и оно недопустимо, воздействия на этого человека не возымели. Он настойчиво объяснял, что приехал изучать культуру народа и не может уехать, не познав одного из важнейших элементов ее кулинарного кода. Относится ли этот сюжет к проблеме этики полевых исследований? Безусловно. Но представим себе другую ситуацию. Вы заходите к соседям, которые ждут гостей и на столе стоит праздничный пирог. Этично ли будет просить немедленно отрезать кусок пирога в связи с тем, что у вас нет

времени ждать, а вы так много слышали о непревзойденном кулинарном искусстве хозяйки дома?

Такие же контрвопросы напрашиваются при чтении и других положений, обозначенных в приглашении «Антропологического форума» к участию в дискуссии по этическим проблемам полевых исследований. Вправе ли человек «*публиковать private сведения и их интерпретацию*», полученные в обыденной жизни от своего коллеги, друга, соседа, просто знакомого, если это может «*нанести ущерб информанту или представить его в невыгодном свете*»? Может ли человек без санкции своего коллеги, друга, соседа, просто знакомого использовать техническую аппаратуру для записи разговора? Думаю, что большинство людей, в том числе этнографов, социологов, фольклористов, ответят на эти вопросы отрицательно, ведь даже, например, следователь при допросе преступника предупреждает его о включенном магнитофоне.

Как мне кажется, в основе этики полевых исследований должно лежать уважение к информанту и — шире — к другим народам и другим культурам, как, впрочем, вообще к людям. Да, нормы поведения в разных культурах имеют свою специфику, которую обязан знать и которой обязан следовать этнограф, социолог, фольклорист, тем не менее современной мировой цивилизацией выработаны некие общие понятия об этике поведения, которые уже стали нормой при межэтнических контактах. Поэтому во многих случаях ученому должно вести себя в «поле» и относиться к методам получения информации так, как бы он хотел, чтобы относились к нему. Кто-то из великих сказал, что уважение к другим — это прежде всего уважение к себе, а уважение к себе — это прежде всего уважение к другим. И с этим утверждением связаны, как представляется, ответы на некоторые другие вопросы журнала: можно ли добывать информацию любым способом, вправе ли этнограф или социолог скрывать цель своего исследования, могут ли они пользоваться «легендой»? Здесь следует отметить, что ложь всегда остается ложью, и ни у одного народа она не вызывает уважения. Добыть информацию обманом, видимо, можно, но будешь ли ты после этого уважать себя как специалиста, который не смог расположить к себе информантов так, чтобы они предоставили интересующие тебя сведения по собственному желанию? И второе — сможешь ли ты приехать снова к людям, которых однажды обманул, а если сможешь, то насколько полную и откровенную информацию ты надеешься получить? Поэтому, как мне кажется, проблема этики полевых исследований заключается в той цели, которую ставит перед собой исследователь: или во что бы то ни стало добыть необходимый материал, или познать народ и его культуру. В соот-

ветствии с этим и выбирается психологическая установка: видишь ли ты в людях только источник информации, которая тебе необходима, или ты живешь среди народа, завоевывая его доверие и постепенно постигая его культуру.

Второй путь более трудный, а получение результатов может быть растянуто во времени, но он освобождает исследователя от гнета многих этических проблем. Если ты обрел уважение людей и ценишь это, тебе не придет в голову скрывать цель исследования, пользоваться тайно магнитофоном и т.п., ибо, прежде всего, ты потеряешь уважение к самому себе. Ну что ж, каждый вправе сделать свой выбор.

ИРИНА РАЗУМОВА

1

Как явствует из самой постановки обсуждаемых вопросов, этическая проблематика полевых исследований может изучаться на нескольких уровнях. Прежде всего, она касается взаимоотношений собирателя и информанта. Формулирование и решение проблем варьируют в зависимости от того, как рассматриваются субъекты исследовательского процесса: конкретные лица в определенной ситуации либо абстрактные сообщества. Кроме того, это вопросы взаимодействия профессионалов и социума в целом, сопряженные, в частности, с ответственностью профессионалов за последствия своей деятельности. Наконец, самостоятельный круг проблем связан с корпоративной исследовательской этикой, с координацией и возможными расхождениями норм у представителей различных дисциплин (социологи, антропологи, фольклористы) и смежных профессий (журналисты).

Проблематично уже само вхождение в ситуацию на стадии первого контакта с информантом, поскольку любая деятельность подобного рода предполагает наши претензии на личное время человека, его внимание, умственные и эмоциональные затраты и т.д. Не всегда можно сразу убедить респондента, что именно он тебе нужен как носитель

Ирина Алексеевна

Разумова

Центр гуманитарных проблем
Баренц-региона Кольского
научного центра РАН;
Кольский филиал
Петрозаводского университета,
Апатиты

известного опыта. Приходится прибегать к дополнительной аргументации, использовать разные способы, чтобы расположить к себе, а это представляет собой своеобразную форму давления и, в свою очередь, налагает ответственность на собирателя. Определенное неудобство испытываешь и в связи с потребностью вознаградить респондента. За все время собирательской работы я ни разу не сталкивалась с просьбой информанта об оплате или ином материальном вознаграждении, и в большинстве случаев таковое скорее способно вызвать обиду. Получение безответного «дара» ставит собирателя в заведомо слабую позицию. Проблема решается лишь в тех случаях, когда отношения с информантом имеют предысторию или продолжение, а это чаще невозможно и не всегда желательно.

Наибольшее же количество проблемных ситуаций связано с характером собираемого материала, атрибуцией и способами фиксации. В полной мере мне пришлось столкнуться с ними при записи семейного фольклора, собирании сведений об истории и культуре семей. У отдельных семей и индивидов различаются (и весьма значительно) объем и содержание «потайного знания», представления о степени сокровенности частной жизни и степень ее переживания. Тем не менее, проводя исследование, необходимо было основываться на «общеетических» нормах и представлениях и на собственных установках. На этапе непосредственного контакта с членами семей ситуации разрешались за счет разных факторов: фоновых знаний собирателя, личных качеств и установок информантов, интуиции и т.п. Сходный круг проблем обычно возникает и при работе с представителями закрытых сообществ, например религиозных общин. Большинство проблем подобного рода, связанных с социальной дистанцией исследователя и информанта, разрешаются только за счет корректного позиционирования собирателя в данных обстоятельствах. В конечном же счете важно не столько устранять все коммуникативные помехи, сколько анализировать их и учитывать при интерпретации. На мой взгляд, все многообразие ситуаций регламентировано быть не может.

Атрибуция материала в ряде случаев также вызывает затруднения этического характера. Они связаны с выяснением биографических подробностей: возраста (в первую очередь у женщин, особенно в тех случаях, когда интервьюер — мужчина), места рождения и жительства, этнической и конфессиональной принадлежности, профессии. Так, ряд дополнительных ограничений налагается при интервьюировании лиц, проживающих без регистрации. С этим мы вплотную столкнулись при изучении этнокультурной ситуации в городах Мурманской области и интервьюировании представителей кавказских

диаспор. Даже в таких обстоятельствах информанты чаще соглашаются дать интервью, но оговаривают место встречи, не сообщают фамилию, просят не упоминать имени и не всегда называют территорию, откуда прибыли.

Проблемы, связанные с фиксацией данных, очевидно, знакомы всем полевым исследователям. При собирании традиционного фольклорно-этнографического материала нам несколько раз приходилось беседовать с информантами, которые позволяли записывать «от руки» заговоры, причитания, мифологические рассказы, но не разрешали пользоваться диктофоном. Чаще запреты подобного рода встречаются при записи современного материала, касающегося лично респондента и его окружения. В каждом случае мы стараемся выяснить мотивацию запрета и в зависимости от нее либо находим дополнительные аргументы, либо не настаиваем на аудиозаписи. По моему мнению, вряд ли стоит отказываться от диалога с информантом, коль скоро речь идет о сотрудничестве. Ограничивающие условия со стороны респондентов имеют разную степень категоричности, нередко они носят этикетный характер или вызваны настроением, поэтому вопрос всегда можно обсудить. Возможны и противоположные случаи, когда, например, информант сам выражает желание подарить собирателю фамильную иконку или личные письма, ценность которых вполне осознает. Для меня именно такие проблемные ситуации являются самыми трудноразрешимыми и эмоционально переживаемыми. В целом же в отношении собирателя — информанта главную проблему составляет определение ситуации, а проблема эта больше профессиональная, чем собственно этическая.

Значительные трудности возникали и возникают при подготовке публикаций, поскольку в отечественной науке до недавнего времени не было практики зашифровывания сведений об информантах, не выработана соответствующая система ссылок. В силу отсутствия определенной традиции мы не всегда располагаем согласием информантов на публикацию текста или его обширное цитирование. По этой причине я пока не сочла возможным опубликовать составленный несколько лет назад сборник текстов семейного фольклора.

Разумеется, опасения вторгнуться в «потайную» сферу и нарушить чьи-либо права создают специфические фильтры уже на стадиях формирования исследовательского замысла, формулирования темы, проблемы и цели работы. Не случайно вопросы, связанные с религиозностью, бытованием этнической стереотипии, функционированием современной семьи, действующих организаций и учреждений и т.п., социологи

предпочитают исследовать количественными методами, обезличивающими объект. Это проблема, но, думается, разрешимая путем совершенствования инструментария и способов презентации результатов. Во всяком случае, мне не хотелось бы отказываться от тематики подобного рода.

Вместе с тем есть ситуации, когда исследование оказывается невозможным по совсем иным причинам. Они касаются норм корпоративной этики. В свое время я отказалась от выполнения работы о северно-русской сказке, для целей которой требовалось фронтальное обследование фольклорных архивов, а один из крупнейших столичных вузовских архивов оказался практически закрытым для любого «постороннего» исследователя. В настоящее время, насколько мне известно, такая же ситуация сложилась у коллег в Петрозаводске в связи с ограничением доступа в фольклорный архив КарНЦ. Вообще проблема статуса и нормативной базы деятельности ведомственных архивов, которая волнует архивоведов и юристов, включает этические аспекты. В чем заключаются и чем ограничиваются права собирателя и учреждения, которое он представляет, на записанный и хранящийся в государственном архиве текст? Конвенционально признано, что это права на приоритетное использование текста и на публикацию. Означает ли это, что другой исследователь не имеет права (в том числе морального) обращаться к данному материалу для решения своих задач? Здесь существует закономерное и весьма острое противоречие между этосом научного сообщества, который ориентирован на институциональную функцию науки, и правами собирателя (ведомства). Не случайно эта проблема решается, как правило, на уровне межличностных связей и симпатий, вполне в традициях российского общества.

Другая сторона вопроса: насколько общество и его представители вправе предъявлять права на широкое обнародование материалов и результатов деятельности профессионалов-исследователей? Чем и в какой мере эти права обеспечены? В этой связи нормы, регламентирующие публикацию, являются одновременно средством защиты прав и информантов, и профессионалов.

2

Прежде всего, я бы уточнила понятия. Есть намеренная ложь, есть селекция информации и есть умолчание. Первое, на мой взгляд, неприемлемо. Что же касается того, сообщать ли и насколько подробно информантам цели исследования, это зависит от а) самих целей, б) социальных характеристик информантов (культурной дистанции), в) возможностей ситуации, г) технологии исследования. Сообщение целей изначально моделирует определенную коммуникативную ситуацию,

которая влияет на результат и нередко исключает другие возможности. Оно также связано с определенными исследовательскими техниками, например, с проведением фокусированного интервью и др. Вместе с тем это создает дополнительную проблему, поскольку респондент, готовый к сотрудничеству, понимает задачи исследования по-своему. Называть и тем более конкретизировать цели работы можно тогда, когда собеседника это интересует. При этом неизбежны упрощения, переформулировки и т.п., меняющие смысл. Корректнее просто обозначить тему, т.е. прояснить свой интерес, что, как правило, вполне удовлетворяет информантов, если они не являются коллегами-профессионалами. В любом случае реализовать установку на полное информирование респондента и «бесхитрость» собирателя невозможно. Что тогда делать с так называемыми «вопросами-ловушками» и подобными приемами интервьюирования?

Обман всегда неэтичен, но многие магические и мантические практики не были бы описаны, если бы этнографы и фольклористы не притворялись больными, неимущими и несчастными в любви. Наконец, если бы обман в форме провоцирующих ситуаций не использовался в исследовательских технологиях (вспомним опыты Г. Гарфинкеля), то не было бы этнометодологии. При этом вряд ли собирателю нужно придумывать для себя «легенду» в специфических ситуациях, поскольку из множества своих социальных характеристик он всегда может выбрать нечто для самопрезентации, если по каким-то причинам нежелательно представляться «ученым из академии наук» или «социальным антропологом» (например, при нехватке времени для разъяснения этого обозначения). Точно так же его трудно обязать честно отрекомендоваться мусульманином или христианином — при беседе с верующими, если те об этом не спрашивают. У собирателя, как и у информанта, есть выбор и свои права. Предварительное определение статуса — это изначальное определение хода беседы со всеми его возможностями и ограничениями. Несколько лет назад в экспедиции один из участников рекомендовал себя жителям поселка «профессором культурологии», приехавшим изучать «формы собирательства» — в полном соответствии с действительностью и, как представляется, в нарушение корректности. Есть профессиональные презентации, которые в настоящее время способны лишь вызвать недоверие или неприязнь в силу сложившегося общественного мнения. По нашим наблюдениям, к таким относится, например, обозначение «социолог». От одного из информантов моя коллега-собиратель, представившись, услышала: *«Да мне все равно, кто. Лишь бы не социолог и не журналист. Им ничего не скажу».*

Вполне определенные коннотации вызывает также слово «фольклорист». Причем коннотации эти различны у горожан и, например, жителей таких признанных «заповедников традиционной культуры», как Терский берег Белого моря. Совсем другое дело — «историк». Имеет значение даже место, откуда приехал собиратель. Жители провинциальных городов и поселков севера и северо-запада гораздо охотнее беседуют с петербуржцами, чем с москвичами (прочие научные центры можно расположить в условном диапазоне между ними).

Собирать информацию без санкции информанта вполне возможно и допустимо, чем, собственно говоря, и заняты все постоянно как в сфере профессиональной деятельности, так и вне ее. Проблемы этического свойства возникают тогда, когда информация начинает использоваться. А вот осуществление намеренной скрытой записи не согласуется с любой этикой, в том числе профессиональной. Нужно согласие информанта. Однако и здесь многообразные ситуации предоставляют нам неучтенные возможности. Диктофон нередко используется «по умолчанию», вопрос этот не обсуждается с информантом, поскольку тот видит работающее техническое средство и считает это естественным. Некоторые собиратели полагают, что при открытой записи можно не концентрировать на ней внимание информанта, дабы не инициировать проблему. Такая позиция тоже заслуживает понимания.

3

Нет и не может быть абсолютных полюсов на условной шкале отстраненности — включенности наблюдателя. Как известно, оценочность можно минимизировать, но нельзя исключить, и личность исследователя справедливо рассматривается современной наукой в качестве исследовательского инструмента. Все контакты с другими — это известное вмешательство в их жизнь, но судьбоносными они оказываются только при исключительных обстоятельствах и при соответствующем осмыслении, и не стоит преувеличивать значение собирательской деятельности. Маловероятно, чтобы можно было спровоцировать какие-либо действия, тем более экстремистские, спрашивая о мнениях и выясняя знания респондентов. Социальные же последствия публикаций возможны, как прогнозируемые, так и незапланированные. Застраховать от нежелательных последствий может только защита границ научного поля: адресность публикаций, специфичность научного языка, аппарата и форм презентации, ответственность за популяризацию и т.п. А вот соучастниками безнравственных акций, очевидно, станем. И нередко грешим против этики, создавая такие ситуации, когда, например, просим человека вспоминать и рассказывать о своем прошлом, связанном с войной, болезненно пережитыми событиями личной жизни и т.п.

4 Ничего из того, что может — реально или потенциально — нанести ущерб информанту, публиковать нельзя. Более того, в определенных обстоятельствах исследователь может и должен быть более щепетилен, чем сам информант. Так, многие люди, которые сообщали сведения о семейной жизни и семейной истории, рассказывали случаи, относящиеся к интимной сфере, высказывались на политические темы и т.п., давали согласие на любое использование информации, как это ни удивительно. Объяснить это можно личными качествами информантов, их идеологическими установками, отношением к собирателю, настроением и многим другим. Однако существует ответственность исследователя и научного сообщества, профессиональная обязанность которого — располагать более обширными знаниями о социальной реальности, в том числе прогнозировать ситуации и моделировать потенциальные социальные контексты, а значит, предвидеть последствия использования информации. Для тех случаев, когда публикация допустима, в настоящих условиях достаточно неформального разрешения информанта. Мне не известны прецеденты, когда информант отказывался от такого разрешения и предъявлял официальные претензии, хотя гипотетически это, наверное, возможно. Другое дело, если публикация затрагивает права третьих лиц или какой-нибудь группы. В силу последнего обстоятельства практика зашифровывания фамилий, имен, мест сбора сведений и т.п. не исключает правовых конфликтов.

Знакомить информантов или организации, которые они представляют, с результатами работы требуется тогда, когда это специально оговаривается в начале исследования, является условием его проведения, или если, например, сельское сообщество, учреждение и т.п. выступают заказчиками. В иных случаях продукт аналитической деятельности является собственностью профессионалов и функционирует в научном поле. Право на ознакомление информантов с результатами, очевидно, дано исследователю постольку, поскольку он принадлежит научному сообществу, потому что оно компетентно в оценке последствий данного шага.

5 Актуализация проблем научной этики связана с комплексом причин. Прежде всего, она вызвана повышением уровня рефлексии самого научного сообщества и, со своей стороны, является индикатором данного процесса. Большое значение имеет интеграция отечественной и западной науки, восприятие соответствующего американского и европейского опыта. Немаловажную роль играет расширение теоретического и исследовательского поля социальных и гуманитарных наук, сопряженное с реорганизацией и переосмыслением субъект-

но-объектных отношений в социогуманитарном знании в целом. Сокращение культурной дистанции между исследователем и информантом позволяет собирателю легко поставить себя на место тех, кого он изучает, отсюда повышенное внимание интервьюеров к правам интервьюируемых. Одновременно меняется общество и те его представители, которые становятся объектом исследования. Деятельность социологов, этнографов и любых собирателей информации вызывает все больше вопросов, касающихся использования полученных сведений. В высшей степени это характерно для российской ситуации, поскольку в общественном сознании сильно недоверие к большинству информационных источников и прочно утвердилось мнение о широких возможностях манипулирования людьми с их помощью. Между тем есть, очевидно, общемировая тенденция возрастания ценности информации, а следовательно, ее цены и стоимости, что требует гарантии прав.

Безусловно, существуют некоторые особенности в понимании исследовательской этики в российской традиции. Они связаны с меньшей разработанностью правовой базы исследований, чем в западной науке, а также с уровнем развития правового сознания, в том числе собирателей и информантов. Сильнее выражены установки на неформальные отношения и сотрудничество. По мнению многих коллег, эти обстоятельства пока значительно облегчают полевые исследования даже с учетом отмеченных изменений, поскольку сильны инерционные механизмы. Прямой отказ от беседы, частичные запреты со стороны информантов: на записывание, паспортизацию и даже на использование текстов — встречаются достаточно редко, по крайней мере, в моей практике они до настоящего времени могут рассматриваться, скорее, как исключения на фоне подкупающей готовности к сотрудничеству.

Думается, в большей степени нуждаются в урегулировании внутрикорпоративные взаимоотношения, касающиеся доступа исследователей к собранным материалам и коллегиальной разработки научных проблем. Могу ошибаться, но складывается впечатление, что в отечественной традиции сформированное поколениями выдающихся собирателей уважение к информантам (вплоть до их идеализации) порой диссонирует с отношением к «собратьям по цеху». Об этом свидетельствуют наличие сфер закрытой информации внутри сообщества, отказ учитывать мнения оппонентов или эмоциональная негативная реакция на них, избирательность ссылок на предшественников-соотечественников, приоритетность личных контактов и т.п. Причина не в отсутствии какого-то формального соглашения или конвенций — аналогов существующих в мировой науке, а в самой структуре научного пространства, ко-

торая практически еще не изучалась, не осмысливалась. В существующих социальных условиях заключение какого бы то ни было формального соглашения чревато сдерживанием творческого потенциала и конфронтацией. Представляются шаткими основания, обеспечивающие соблюдение норм: крайне неустойчив статус научных институций и ученого в российском обществе, нет достаточной юридической базы деятельности архивов, затруднены научные коммуникации, очевидна диффамация ценности науки и гуманитарного образования в государстве и обществе и т.д. Это не означает, что не нужна конвенция, декларирующая принципы исследовательской этики определенного научного субполя. Напротив, она может помочь урегулировать взаимоотношения внутри корпорации и укрепить ее автономию.

ДОНАЛЬД ДЖ. РАЛЕЙ

Мне хотелось бы поблагодарить профессора Катриону Келли за приглашение принять участие в разговоре об этике полевой работы. Служба по этике в исследованиях о человеке (The Office of Human Research Ethics) в университете Северной Каролины (Chapel Hill), в котором я работаю, требует обязательного изучения этического кодекса (существенная часть процедуры «надзора») для любого исследования, затрагивающего человека, независимо от дисциплины или методологии. Согласившись поделиться опытом относительно того, насколько эта процедура облегчает или мешает исследованию, я намерен воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы пожаловаться на то, что, на первый взгляд, поразило меня как ненужное вторжение со стороны службы по этике. Однако взвесив альтернативы и познакомившись поглубже с общенациональными дебатами, являющимися контекстом моего опыта, я должен сделать вывод о том, что пока не будет придумано ничего лучше, обязательное изучение этического кодекса и обязательный надзор представляются мне необходимыми.

Дональд Дж. Ралей
(Donald J. Raleigh)
Университет Северной
Каролины, США

Книга, над которой я сейчас работаю, прослеживает — используя жизненные истории первого советского поколения, родившегося после Второй мировой войны, — те процессы второй половины XX в., которые разрушили советскую империю. Те семьдесят человек или около того, которых я изучаю, — это люди, окончившие в 1967 г. московскую школу № 29 и саратовскую школу № 42 (на тот момент недавно появившиеся «специальные» школы с интенсивным изучением английского языка). В начале моей работы над этим проектом в 2001 г., когда я еще был новичком в области устной истории, мне повезло, что в моем родном университете имелись специалисты, с которыми можно было проконсультироваться, прежде всего коллеги, связанные с программой по устной истории Американского юга университета Северной Каролины (UNC's Southern Oral History Programm <<http://soph.org/>>), инициированной в 1973 г. для *«поощрения критических, но тем не менее демократических представлений об [американском] Юге — его истории, культуре, проблемах и перспективах»*. С тех пор ученые и аспиранты, связанные с данной программой, записали более чем 2900 интервью с людьми всех социальных страт и профессий.

Проблема исследовательской этики возникала уже на ранних этапах, когда мой проект находился на стадии разработки, по мере того, как я знакомился с методиками устной истории. В этот период исключительно полезным для меня оказалось внимательное чтение брошюры, подготовленной программой по устной истории Американского юга «Oral History: A Practical Guide» (март 2000), а также буклета «Oral History Interview Guidelines», выпущенного в 1998 г. Американским музеем Холокоста. Вдобавок ко всему многообразию полезной информации оба источника содержат библиографию работ по методологии устной истории, этике, менеджменту и хранению материалов, вроде классической работы Дональда Ритчи «Doing Oral History» (New York, 1995). Помимо этого я вступил в Ассоциацию устной истории (Oral History Association), основанную в 1967 г., — профессиональную организацию всех тех, кто интересуется устной историей (см. <<http://www.dickinson.edu/oha/>>). Сайт ассоциации разместил принципы оценки (по сути этический кодекс), доступные и в виде брошюры. Членство в Ассоциации включает подписку на ее информационный бюллетень, выходящий три раза в год, и на профессиональный журнал «The Oral History Review», выпускаемый издательством Калифорнийского университета. Информационный бюллетень дает полезную практическую информацию, журнал сообщает о новых научных работах и крупных теоретических дебатах в сфере устной истории. Кроме того, ассоциация выступает

спонсором онлайн-обсуждения, N-Oralhist, сетевого ресурса для ученых и профессионалов, работающих в областях, связанных с устной историей.

После семестра подготовительной работы я подал документы и получил небольшой исследовательский грант от своего университета для того, чтобы приступить к реализации моего проекта летом 2002 г. Однако средства были выделены с условием: я не смогу их получить до тех пор, пока не предоставлю документы, удостоверяющие, что мой проект одобрен одной из существующих в моем университете пяти институциональных комиссий, спонсором которых выступает Служба по этике в исследованиях о человеке, ответственная за *«этический и правовой контроль над исследованиями, посвященными человеку, проводящимися в университете Северной Каролины в Чапел Хилл»*. Четыре из пяти комиссий занимаются проблемами общественного здравоохранения, биомедицинскими проблемами, а также вопросами, связанными с уходом за больными. Мне понадобилось согласие одной из них, Behavioral IRB, *«занимающейся исследованиями в области социальных наук, наук о поведении и гуманитарных наук»*.

Для того чтобы получить одобрение проекта, я должен был выполнить по Интернету задание по исследовательской этике (и получить проходную отметку), предложенное Национальным институтом здравоохранения. Я должен был представить описание проекта, где рассказывалось о том, какова его цель; что я собираюсь сделать (это нужно было описать подробно с тем, чтобы члены комиссии смогли оценить риск для участников исследования); каковы будут участники проекта; методики их отбора; и наконец, какое вознаграждение — если оно будет — я предложу за участие. Я должен был объяснить, почему я считаю, что мои информанты не будут подвергаться риску, какие шаги я предприму для того, чтобы минимизировать возможный риск; какие меры безопасности приму для сохранения приватности и конфиденциальности, а также как будет достигаться предварительное согласие на участие (меня снабдили договором о согласии для интервьюируемого, а также договором о правах на использование материалов интервью). В договоре о согласии были прописаны права интервьюируемого (такие, как право не отвечать на вопросы, право попросить отключить диктофон, право закончить интервью в любую минуту, право сохранять анонимность и т.д.). В договоре о правах на использование интервью было указано, какие ограничения, если таковые имеются, хотел бы наложить информант на использование мною транскрибированных материалов, а также на то, что я могу делать с записью.

В нашем университете существует трехуровневая система рассмотрения проектов комиссиями (рассмотрение по полной программе, ускоренный вариант рассмотрения, а также возможность принятия решения относительно того, нельзя ли освободить проект от дальнейшего рассмотрения). Комиссия принимает решение о том, какой уровень рассмотрения она считает необходимым, основываясь на характере проекта, уровне потенциального риска для людей, а также для населения, являющегося объектом исследования. Как и подавляющее большинство проектов по устной истории, проводящихся в нашем университете, мой проект прошел через «ускоренное» рассмотрение. Только те проекты, которые предполагают минимальный риск для людей, могут считаться годными для ускоренного варианта рассмотрения, который проводится не всей комиссией, а одним или несколькими ее членами.

Хотя я и не вносил существенных изменений в проект, от меня потребовали, чтобы я получал подтверждение одобрения комиссии каждый год. Если бы мне не удалось получить подобное разрешение, я не смог бы получать университетские и другие гранты и стипендии для продолжения работы над исследованием. Подтверждение включает подачу официального заявления, а также договора о согласии с интервьюируемыми и договора об использовании записи интервью. Когда я получал в 2005 г. подобное подтверждение, комиссия проинформировала меня, что для будущих рассмотрений или для дальнейших подтверждений одобрения моего проекта мне нужно заполнить новый Collaborative IRB Training Initiative (CITI) — выложенный в Интернете пакет документов, связанных с подготовкой в области проблем, имеющих отношение к исследованиям о человеке. Он выработан национальным консорциумом и находится в ведении университета Майами. Университет Северной Каролины стал одним из 400 вузов Соединенных Штатов, использующих эти документы для обязательной подготовки в области исследовательской этики. Документ содержит модули по таким темам, как согласие, данное на основе полученной информации, незащищенные группы населения, этические принципы, правила институциональных комиссий. В конце прилагается тест, необходимый для того, чтобы оценить то, насколько ты владеешь материалом. Эти документы показались мне излишними. Тем не менее у меня не было выбора, кроме как выполнить требования комиссии: я заполнил все документы перед тем как подать заявление о повторном одобрении проекта комиссией на 2006/2007 учебный год.

Я осознавал, что «согласие, данное на основе полученной информации» (informed consent) от людей, которых я интервьюировал, является жизненно важным. Между тем я немного

беспокоился относительно того, как они будут реагировать на то, что я вручу им официальную бумагу с предложением подписать ее — ведь они прожили большую часть своей жизни при советском строе. Однако по большей части мои респонденты реагировали с пониманием и даже с симпатией, когда я объяснял, что цель этих документов заключается в том, чтобы их защитить. Никто из тех, кто дал согласие на встречу со мной, не отказался от интервью после того, как получил документ о согласии. Немногие просили меня использовать псевдонимы при использовании материалов интервью, и лишь 2–3 человека потребовали, чтобы я уничтожил аудиозаписи по окончании проекта или вернул им их. Сейчас, приступив к написанию книги, я вижу, насколько соблюдение ограничений, наложенных респондентами, влияет на то, как я пользуюсь этими интервью. Как бы то ни было, забота о приватности информантов ни в малой степени не ограничивала свободу информации. Я не могу сказать, кто «собственник» того или иного мнения, точки зрения, но мне удалось объяснить смысл той или иной позиции.

Я думаю, что моим российским коллегам будет небесполезно узнать о больших американских дебатах, являющихся тем фоном, на котором работает институциональная комиссия моего университета. Прежде всего, мне хотелось бы сказать о деятельности Ассоциации устной истории. Начиная с основания в 1967 г. ассоциация отдавала приоритет выработке профессиональных стандартов для специалистов по устной истории, выпустив в 1968 г. свои первые «Цели и руководящие принципы» и создав комитет по этическим/правовым основам. С тех пор ассоциация выработала набор принципов и стандартов, охватывающих ответственность историков перед интервьюируемыми, публикой и профессией, а также перед институтами-спонсорами и архивами. Принципы оценки проектов по устной истории, выработанные ассоциацией, были приняты Национальным Фондом гуманитарных наук в качестве стандарта для проведения исследований в области устной истории и являются доступными на сайте ассоциации (http://www.dickinson.edu/oha/pub_eg.html). Через поощрение устной истории и организацию публикаций и ежегодных конференций дискуссии, ставшие возможными благодаря ассоциации и посвященные исследовательской этике, продемонстрировали глубокое понимание того, как раса, класс, гендер, этничность и культура могут влиять на процесс интервьюирования, а также того, какое воздействие проекты по устной истории могут оказывать на сообщества, в которых они проводятся.

Учитывая принципы, выработанные ассоциацией, исследователь может спросить, почему университетские комиссии, из-

начально созданные для мониторинга биомедицинских исследований, «вторгаются» в работу историков? В то время как большинство биомедицинских исследований включают стандартные опросники, которые предлагаются большому количеству людей, сохраняют по большей части анонимность, специалисты по устной истории проводят нерегламентированные, полуструктурированные интервью с людьми, которых можно идентифицировать и которые дают свое согласие на основе полученной информации о проекте. Во многих американских университетах комиссии по надзору появились в 1998 г., когда Американская служба по защите исследований о человеке (U.S. Office for Human Research Protection) включила устную историю в систему федеральных правил для надзирающих комиссий. Это породило конфликты во многих институтах, чьи надзирающие комиссии нередко пытались применять стандарты, выработанные для биомедицинских исследований, к качественно иному типу проектов. Ассоциация устной истории и Американская историческая ассоциация совместно ввязались в конфликт для того, чтобы представлять интересы своих членов. Благодаря взаимодействию с этими двумя профессиональными ассоциациями Американская служба по защите исследований о человеке в 2003 г. отказалась от своей прежней точки зрения, решив, что проекты по устной истории должны быть выведены из-под надзора институциональных комиссий. Однако неточный язык, использовавшийся службой при составлении этого документа, породил множество интерпретаций.

Согласно федеральным правилам исследование, поданное для рассмотрения в комиссию, определяется как *«систематическая исследовательская работа, включающая разработку проектов, проверку исследовательских гипотез и их оценку, нацеленная на продуцирование знания, которое может стать материалом для обобщений»*. Напротив, на сайте Ассоциации устная история описывается как *«метод сбора и хранения исторической информации благодаря записанным интервью с участниками о событиях прошлого и образе жизни»*¹. Проблема таким образом заключается в том, что обе стороны определяют «то, что может быть обобщено», по-разному. Ассоциация устной истории настаивает на том, что данный термин не может означать знание, которое само по себе ведет к обобщениям, поскольку это характеризует *«каждый тип научного исследования и человеческой коммуникации»*.

Комиссии продолжают требовать подчинения правилам. Недавнее исследование, проведенное исследовательской секцией

¹ См. «Oral History Excluded From IRB Review» <http://www.dickinson.edu/oha/org_irb.html>.

Американской исторической ассоциации в 252 университетах и колледжах США, показало, что, несмотря на соглашение 2003 г., которое вроде бы исключило большинство проектов по устной истории из ведения комиссий, они расширяют сферу защиты людей, изначально распространявшуюся на медицинские и естественно-научные исследования. В тоже время почти всегда (95 % случаев) устная история понимается как один из исследовательских методов, которые должны подвергаться «ускоренному», а не полномасштабному рассмотрению. Исследование Американской исторической ассоциации подтверждает, что большинство комиссий действует исходя из представления о том, что *«даже если устная история и исключена из системы рассмотрения, только комиссии могут эмпирическим путем решать, что является исключенным»*. Более того, во многих случаях столкновение между комиссиями и профессиональными историческими ассоциациями приводило к *«жесткому утверждению [необходимости] надзора, осуществляемого комиссиями»* [Townsend et al. 2006: 7-9]. Это заключение подсказало Американской исторической ассоциации обратиться с письмом к директору Американской службы по защите исследований о человеке, потребовав, чтобы служба четко высказалась, какова ее позиция по данному вопросу [Letter 2006: 11-12, 35]. Более того, исследовательская секция Американской исторической ассоциации организовала две панели по устной истории на ежегодной конференции ассоциации, проходившей в начале января 2006 г. в Филадельфии, одна из которых («Устная история и институциональные комиссии по надзору: что нужно знать специалисту по устной истории перед тем, как начать ею заниматься») напрямую была посвящена данной проблеме.

Ситуация в моем университете подтверждает результаты, к которым пришла Американская историческая ассоциация. Служба по этике в исследованиях о человеке университета Северной Каролины претендует на исследования о человеке, *«способствующие порождению знания, которое может стать материалом обобщений, спланированные заранее и использующие систематический подход»*, как на относящиеся к ее ведению. Д-р Барбара Д. Голдман, работающая в этой службе, объяснила мне в письме, посланном по электронной почте, что на сайте Американской службы по защите исследований о человеке нет ничего, что указывало бы на то, что надзор, находящийся в ведении институциональных комиссий, не осуществляется, и потому наша комиссия все еще осуществляет надзор над проектами в области устной истории, антропологии, над исследованиями, включающими интервью и т.д. Документ, составленный Голдман, хотя пока и не одобренный Службой

по этике в исследованиях о человеке, поясняет, что *«интервью, проводимые в рамках устной истории, отличаются от обычных исследовательских интервью тем, что могут увеличивать риск для участников, и таким образом заслуживают дополнительного внимания со стороны комиссий»*. Обратившись к вопросу о том, что решение службы по защите проектов в области исследований о человеке *«может показаться отвергающим надзор со стороны комиссий над большинством проектов по устной истории на том основании, что они не нацелены на порождение знаний, которые могут стать материалом для обобщений»*, она подтверждает, что *«решение службы заключалось не в том, что комиссии не могут или не должны осуществлять надзор над проектами по устной истории, а в том, что им не нужно этого делать; комиссии могут принять решение о том, чтобы следовать более высоким стандартам»* [выделено мной. — Д.Р.]. Понимая основания тех вызовов, которые могут бросить властному положению комиссий специалисты по устной истории, Голдман признала, что комиссии некоторых институтов реагировали «глупо», и что она даже была свидетелем беспокойства, выраженного комиссией, в которой состоит сама, по поводу потенциальных рисков, которые могут повлечь нерегламентированные интервью. *«Тем не менее мы попытаемся сделать работу комиссии разумной»*, — высказала она свое мнение. Основываясь на своем собственном опыте, могу подтвердить, что она это делает. Что может, однако, случиться, если ее сменил кто-то, кто не разделяет ее точку зрения? Эта обеспокоенность является законной, поскольку именно это происходило в некоторых случаях в других университетах, где комиссии поступали «глупо».

Взвешивая плюсы и минусы процедуры рассмотрения и исследовательской этики, я думаю, что этические принципы Ассоциации устной истории подготовили меня к полевой работе гораздо лучше, чем все, что мне сообщили институциональные комиссии. Рассмотрение моего проекта в комиссии стоило мне драгоценного времени. Я должен был заполнять бумаги, материалы онлайн-курсов, которые нередко не имели почти ничего общего с проблемами, с которыми я сталкиваюсь, занимаясь устной историей, и не научили меня ничему, чего бы я уже не знал — или что мне нужно было знать.

Однако я думаю, что на сегодняшний день надзор, осуществляемый комиссиями, является необходимым неудобством. Предварительные результаты проведенного Американской ассоциацией устной истории исследования, поддержанного Фондом Меллона при участии Ассоциации устной истории, Американского общества фольклористов и Общества этномузыковедов, подтверждают широкое распространение устной

истории, которая присутствует во всех сегментах академического мира. Однако ассоциация признает, что «многие сотрудники кафедр и учащиеся занимаются устной историей, обладая очень слабой подготовкой», и что «не всегда заметна приверженность «принципам оценки», выработанным ассоциацией». Одни эти результаты объясняют, почему «проблемы, связанные с институциональными комиссиями, являются актуальными». Обратившись к членам ассоциации с просьбой поделиться своей точкой зрения по данному вопросу, ассоциация откровенно признается, что «быть может, понадобится выработать творческие пути для пропаганды необходимости «принципов оценки» и других материалов» [Melon Foundation Underwrites Joint Study 2006: 1–2]. Пока этого не произойдет и пока федеральные власти не выработают четкие принципы, надзор институциональных комиссий гарантирует, что сотрудники кафедр и учащиеся получают по крайней мере некоторую подготовку, что позволит им лучше осознавать риски, которым подвергаются их информанты, а также необходимость согласия, данного на основе полученной информации. Попросту говоря, дублировать обучение этическому кодексу лучше, чем ничего.

Ни один из принципов, лежащих в основе этических кодексов для специалистов по устной истории, не затрагивает проблему различий в представлениях о личном достоинстве в разных культурах. Не удивительно, что одна из наименее ясных вещей, более всего существенная для моей работы, — это вопрос о том, должен ли я называть в своих публикациях моих информантов, если они дают на это разрешение (такова обычная практика в устной истории), или мне следует это скрывать (как это принято в этнографической полевой работе). Я решил равняться на респондентов: большинство моих информантов никак не ограничивали меня в пользовании интервью или в помещении аудиокассет в архив, если какая-нибудь библиотека или другое хранилище выразит интерес к их хранению. Однако, интервьюируя две группы, каждая из которых состояла из людей, посещавших вместе школу, я увидел необходимость сохранить некоторый уровень анонимности, когда информанты говорили о других вещи, которые могли бы показаться критическими, осуждающими или оскорбительными.

Более того, я не обнаружил теоретической литературы, написанной специалистами по устной истории, по поводу межкультурного интервьюирования, несомненно потому, что данный феномен сам по себе является достаточно новым. В отличие от антропологов и этнографов, специалисты по устной истории — до недавнего времени — стремились проводить исследования в рамках своих собственных культур и поэтому были более озабочены проблемами класса, этничности и ген-

дера, а не дискурсом, порождаемым для репрезентации «другого». Вопросы межкультурного характера немедленно приходят на ум, когда я начинаю интервьюировать своих информантов. Например, были бы их ответы на мои вопросы теми же, если бы эти вопросы им задал российский интервьюер? Влияет ли на ответы точка зрения респондентов на американцев и/или на американскую внешнюю политику, вызывавшую и вызывающую неоднозначное отношение в мире? Окажут ли сдерживающее воздействие на ответы моих респондентов процессы, проходящие в нынешней России, или страхи, оставшиеся у них от советского прошлого? Как разыгрывается проблематика гендера в межкультурных интервью? И наконец я обнаружил, что поездки в СССР и Россию в течение многих лет (с 1971 г.), знание людей и культуры, беглость в русском научили меня более внимательно относиться к этим и другим проблемам, связанным с согласием, данным на основе полученной информации, а также с риском; подобное знание не могут мне дать никакие принципы или занятия, посвященные общим вопросам. Я понял, что установление контакта с моими информантами зависело от меня, что серьезность моих намерений, открытость, способность находить общий язык с информантами и широта моей подготовки в значительной степени влияли на желание моих информантов говорить, делиться, доверять. Я также осознал тот факт, что то, как я пользуюсь их воспоминаниями, зависит от моей проницательности и рассудительности. Это помогло мне быть внимательнее к своим намерениям — профессиональным и личным. И даже заставило лучше оценить дары, которыми меня наделяли респонденты, позволяя фиксировать их воспоминания. Проект был посвящен им, однако реализация, честность и профессионализм этого начинания говорили обо мне.

Пер. с англ. Аркадия Блумбаума

Библиография

- Letter to the Director of the OHRP // AHA Perspectives. 44:2 (February 2006). P. 11–12, 35.*
- Melon Foundation Underwrites Joint Study // OHA Newsletter XL. No. 1 (2006). P. 1–2.*
- Townsend R.B. et al. Oral History and Review Boards: Little Gain and More Pain // AHA Perspectives. 44: 2 (February 2006). P. 7–9.*

АЛЕКСАНДРА СИМАНОВСКАЯ

Недавно в бескрайних просторах Интернета я обнаружила страничку с отчетом об экспедиции РЭМ на Кольский полуостров в 2003-2004 гг., здесь же были выложены авторские черно-белые фотографии — пейзажи и портреты местных жителей. Фотоработы предлагалось обсудить на форуме.

На нескольких фотографиях я узнала своих информантов из села Краснощелье! «Колдун рассказывает о медведе» и «Дед»...

Насколько я знаю, оба этих человека уже выступали когда-то в роли key informants и их, наверное, можно назвать «профессиональными информантами». Один — для этнографов из Коми научного центра РАН еще в 1980-х гг. (в опубликованной научным центром книге представлена его родословная), другой — для историка и антрополога из Англии в начале 2000-х гг. (в монографии исследователь называет его «оригинальным народным философом»).

В интервью со мной (2005) оба они упоминали о своем опыте общения с «этнографами» и ссылались на соответствующие книги.

В дневниковых записях участника экспедиции РЭМ (в селе он провел четыре дня) упоминаются имена реальных людей, в том числе одного из этих двоих, «колдуна». Оказывается, что сам он (коми-ижемец) — «Белый шаман» или «Знахарь», так якобы его именуют сельчане, а его бывшая супруга (саами), наоборот, почитается за одну из самых опасных местных колдуний. Она «портит» людей, а он «лечит» их от порчи. Такое противостояние и стало в свое время причиной развода. Здесь пересказываются наблюдения, истории и байки, услышанные во время экспедиции, а также содержание телефонного разговора с «черной колдуньей». Автор удивляется, что английский исследователь, четыре раза побывавший в селе и около месяца проживший в доме «знахаря»,

не *«смог рассмотреть в нем местного магического специалиста»*. Не смог или посчитал, что не должен писать об этом?

Честно говоря, я не знаю, насколько правдива эта история с колдовством. Кое-что, о чем говорится в дневнике, как мне кажется, точно не имеет отношения к действительности. Здесь важно другое, а именно этическая сторона дела.

Может ли этнограф указывать имя информанта (персонажа), о котором идет речь, и при этом говорить о его личной жизни, статусе в сообществе? Важно ли здесь, какого рода это публикация: монография, статья в научном сборнике или интернет-публикация, высказывание на форуме?

На мой взгляд, если информант не соглашается или не просит сам указать свое реальное имя и личные данные в тексте, нужно обращаться к практике зашифровывания имен информантов. Приватные сведения должны указываться, но ограниченно и только если без этого никак не обойтись (в зависимости от целей исследования, например, можно не указывать место работы и должность человека, если это не существенно) и при условии, что данная информация не нанесет ущерб собеседнику.

Отдельный случай — публикация полных текстов интервью или биографий. Это должно осуществляться, безусловно, с согласия информанта, возможно, даже с формальной его санкции — письменного разрешения (см., например, сборник *«Расскажи свою историю»*. Конкурс фонда *«Ночлежка»* и газеты *«На дне»*. СПб, 1999).

Конечно, если публикацию читает, например, деревенский житель, то он может верно идентифицировать в «зашифрованном» персонаже своего соседа. От этого мы не застрахованы. В случае с небольшим сообществом, деревенькой или селом, исследователь почти всегда сам знакомит своих информантов с результатами работы, привозит или присылает экземпляр публикации (его право — представить написанное и в какой-то более подходящей, доступной читателю форме). Если наше поле — большой город вроде Санкт-Петербурга, то вероятность узнавания человека ниже, но круг потенциальных читателей — членов изучаемой группы шире, так как возможностей доступа к информации больше: пошел и купил книгу в магазине или лавке издательства.

Размещение электронной версии журнальной статьи, автореферата диссертации или полевых заметок и пр. на собственном сайте увеличивает вашу аудиторию до невероятных размеров. Тот, кто ищет информацию по конкретной теме или проблеме, как это сделала я, набрав в строке поисковой системы *«комичемцы»*, без труда может обнаружить этот материал. Инфор-

мант сам или с помощью родственников, знакомых может обнаружить информацию о себе в сети... Понравится ли ему то, что он увидит или прочтет? Согласится ли он на интервью с другим исследователем в будущем?

АМРИТ СРИНИВАСАН

Специального формального органа, регулирующего поведение антропологов в полевых исследованиях, у нас нет. Конечно, студентам на занятиях рассказывают, как общаться с людьми и как получать их добровольное информированное согласие. Поскольку для индийского общества характерны разительные различия в уровне дохода, социальном статусе и языке, студентам прежде всего внушают, что в полевой работе абсолютно исключена эксплуатация объектов исследования. Запрещены любые финансовые поощрения для получения какой бы то ни было информации. Поскольку студенты в Индии обычно изучают те группы общества, к которым принадлежат сами, обязательства перед обществом, прозрачность и подотчетность становятся необходимыми не только этически, но и методологически.

Студентам в полевой работе приходится сталкиваться с весьма реальной проблемой: люди ищут у ученых помощи. Ни в коем случае с самых первых шагов исследования нельзя давать пустых обещаний. Допустимо, чтобы на этапе диссертационного исследования аспирант сообщал о том, что он подчиняется определенным академическим нормам, связанным с получением научной степени. Последующие публикации материалов и их открытое обращение, естественно, способны оказать глубокое и благотворное влияние на жизнь многих людей. В обществе, где люди придавлены чиновничьим безразличием и даже насилием, сам интерес исследователей к мнению обычного человека представляет собой радикальный шаг.

Амрит Сринивасан
(Amrit Srinivasan)
Индийский технологический
институт Дели, Индия

Право на неприкосновенность частной жизни не может быть единственным этическим критерием социальных исследований, когда они проводятся в обществе, где господствующая идеология превратила людей в безвластных «невидимок». Многие остро нуждаются в том, чтобы их история была услышана. Поэтому для нас «участие» — это во многом создание условий для того, чтобы люди могли высказать свое представление о жизни, при этом мы проводим четкую разделительную черту между государством и гражданским обществом. В Индии с ее опытом планового экономического развития, основанного на государственном финансировании, последнее не всегда было возможно. В рамках официальных парадигм с их идеями «прогресса» и «модернизации» традиционный, сельский и «коренной» сектор, в котором трудятся бедные и маргинализованные группы индийцев, часто представляется отсталым. Противопоставить этим огосударственным системам значения живую полевую реальность — вот что становится ключевой составляющей исследовательской этики.

Когда изучаешь общество, к которому принадлежишь сам, едва ли возможно соответствовать кристально чистому образу «нейтрального» инструмента исследования. «Активисты» и неправительственные организации часто называют подверстывание жизни местного населения к академической теории взглядом «из башни из слоновой кости». Однако нам представляется, что баланс взаимных интересов вполне осуществим в области науки и легитимных исследовательских интересов. Как говорил Ганди, профессиональная любовь к истине, понимание и поиск решения таких проблем, как насилие, нищета и нетерпимость в обществе, способны преобразить как самого исследователя, так и ту реальность, которую он/она изучает [Srinivasan 1993]. Страстная приверженность идее справедливости и качественная наука вполне совместимы. Когда исследователь в заметках и дневниках пишет о своих личных убеждениях и опыте, полученном при полевой работе, он не только рефлектирует над методологией, но и свидетельствует о пути своего личного совершенствования.

«Право на неприкосновенность частной жизни», нравственные принципы и кодекс этического поведения самого исследователя при столкновении с иными, непохожими на привычные способами жизни, работы и игры переживают сильную встряску. Об этом свидетельствуют многочисленные полевые исследования. Кроме того — если речь идет об обществе, к которому принадлежит сам исследователь, — культурные «различия» приобретают политический, этический и идеологический смысл. Стремиться к тому, чтобы изменить не окружаю-

щих, а самого себя — вот, как мне представляется, начало этической реакции на полевою реальность.

Приведу пример из собственного опыта: когда я изучал движение реформирования и возрождения жизни и искусства девадаши из Тамил Наду в Южной Индии¹, мое стремление к академической и этической нейтральности было воспринято как разновидность пристрастного отношения [Srinivasan 1984; 1985]. Религиозный, храмовый, «кастовый» контекст искусства девадаши и его явная связь с сексуальностью стали причиной недоверия светских социологов и феминисток к клиническому тону моей аргументации, который не вписывался в клише эксплуатации и/или виктимизации. Традиционалистов же не устроило в моей работе то, что им показалось непропорциональным вниманием к моральным проблемам — эволюционному возникновению храмовой «проституции» как «социального зла», дегенерации поклонения святыням, вызванной разрушительным влиянием мусульманских «вторжений» в чисто индуистские практики.

Поляризация взглядов разных групп ученых по кастовому вопросу начала складываться еще в начале XX в. в викторианском мире самой колониальной Индии, и я волей-неволей оказался вписанным в контекст этих споров. До сих пор брахминское лобби считает меня необразованным северным «чужаком», который, не зная санскрита и не обладая навыками танца, пытается понять их роль в сохранении и «возрождении» искусства девадаши в его оригинальных формах. Между тем для небрахминского лобби (состоящего преимущественно из представителей общины девадаши) я — антимодернист, романтизирующий «эксплуатацию» их женщин мужчинами-сладострастниками из высших каст. Весьма показательно, что даже академическая наука не спешит исследовать импликации матрифокального (т.е. такого, где в центре стоит фигура матери) устройства жизни давадаши как этической основы для сексуального порядка, альтернативного браку.

Когда речь заходит о системе родства и брака в индийском обществе, в качестве свидетельства матрилинейности, т.е. происхождения, наследования и проч. по женской линии, упоминают образ жизни оседлых наядов, и/или хаси². Почему?

¹ Девадаши — это класс актрис, которые, прежде чем приступить к обучению искусству танца и до наступления пубертатности проходили церемонию посвящения местному храмовому боже-ству. Им не разрешалось вступать в брак, но поощрялись их союзы с представителями господствующего класса. Дети, происходившие от таких союзов, также обладали правом работать в храмовой системе, при условии, что они брали фамилию матери и проживали с ней вместе.

² Недавнее свидетельство этого подхода — сборник [Ubergi 1994]. В этот сборник вошла знаменитая статья Катлин Гу «Наяды и определение брака», впервые появившаяся в [Gough 1959], но нет ни слова о девадаши.

Возможно, буржуазные нравственные нормы самих полевых работников и пройденная ими профессиональная подготовка в качестве британских африканистов мешает исследовать матрилинейность не просто как структурный принцип, а как сексуальную этику, укорененную в истории и культуре. Похоже, дело именно в этом, доказательством чему служит то, что в постколониальных спорах о матрилинейности наяров ее пытаются втиснуть в аналитические рамки «брака», которому она как раз этически противостоит! Возможно, те, кто так делает, преследуют благородную цель: они хотят возразить на колониальную критику «промискуитета» наяров. Но таким образом не остается места для адекватного понимания сексуальности наяров, которое позволило бы обойтись без жестко противопоставленных и взаимоисключающих клише «жена»/«проститутка». Понимание индийской матрилинейности в случае девадаши требовало от господствующей науки методологической и этической гибкости и тонкости, в результате чего пример девадаши был просто проигнорирован.

Не думаю, что существуют некие стратегические способы для разрешения подобных сложных дилемм, с которыми мы сталкиваемся в полевых исследованиях. Нужно просто стремиться к тому, чтобы демистифицировать социальную реальность и избегать опасностей и очарований политкорректности. Компаративные, универсальные истины, лежащие в основании определенных институтов человеческого общества, рано или поздно выходят на поверхность. Сегодня актрисы, социально принадлежащие к среднему классу, или «звезды» живут явно вне брака, не оставаясь при этом девственницами. Женщины, принадлежащие к высшему классу, к элите, танцуют в храмах для привлечения интереса туристов к национальному историческому наследию, а проститутки требуют, чтобы их считали сексуальными «работниками», а не экзотическими жертвами. В такой перспективе пронизательный наблюдатель может увидеть, чем были девадаши в действительности — женщинами, профессионально работавшими в сфере искусства, которым было позволено оставаться независимыми от семейных, домашних обязанностей, но при этом оставаться под защитой социальных структур общин и домашних традиций обучения танцу. Таким образом, в истории буржуазная нравственность и этическая брезгливость образованного полевого исследователя не всегда могут соперничать с аутентичной правдой полевой реальности. Этическое отношение к полевой реальности — это постоянная открытость *новому*: познанию неудобных истин, бросающих вызов существующим академическим и социальным системам ценностей.

Пер. с англ. Марии Маликовой

Библиография

- Gough K.* The Nayars and the Definition of Marriage // JRAI. 1959. 85. P. 45–80.
- Srinivasan A.* Reform and Revival: The Devadasi and Her Dance // Economic and Political Weekly. 1985. Vol. XX. No. 44. Nov 2. P. 1869–1876.
- The Subject in Field Work* // Economic and Political Weekly. 1993. No. 50 (December). P. 2745–2752.
- «*Gurukulam*». India International Quarterly. 1996. Vol. 23 (3&4). Second Nature: Women and Family. P. 227–247.
- Uberoi P.* (ed.). Family Kinship and Marriage in India. New Delhi, 1994.

НИКИТА УШАКОВ**1**

В полевой работе мне приходилось сталкиваться со следующей этической проблемой. Информант говорил следующее: он может рассказать, как было в реальности, но расскажет как человеку и просит ничего не записывать. Довольно часто это был важный материал по теме исследования, раскрывающий ряд внутренних мотивировок поступков людей. Здесь возникала этическая проблема — записывать или не записывать подобный материал. По этическим соображениям я не записывал эти сведения. Данная информация оставалась только в моей памяти. С точки зрения этики, я поступал корректно. С точки зрения исследования, вероятно, нет. Наука имеет дело только с материалами. Это записи в полевом дневнике, рисунки и фотографии с текстовыми описаниями, аудиозаписи с их текстовыми расшифровками, видеозаписи с текстовыми комментариями и экспонаты с текстовыми записями. Информацию, хранящуюся в памяти собирателя, нельзя считать научными данными, так как со временем она становится стертым воспоминанием и навсегда уйдет из жизни вместе с собирателем.

**Никита Вадимович
Ушаков**

Музей антропологии и
этнографии им. Петра Великого
(Кунсткамера) РАН,
Санкт-Петербург

Когда мне приходилось публиковать результаты полевого исследования в форме научной статьи, я не сталкивался с этическими

проблемами. Здесь полевые материалы представлялись в виде суммарных данных к выводам. В то же время, когда в ряде случаев я ставил цель опубликовать сами полевые материалы как интересный источник, я сталкивался с этической проблемой: как публиковать полевой материал — в идентичной или отредактированной форме. Однозначного ответа здесь нет. Мне кажется, что здесь последнее слово — за этическим решением исследователя. Он лучше всего знает условия сбора данной информации и задачи своего исследования.

В ряде случаев я уходил (или старался уходить) от сбора информации по ряду вопросов программы, когда в конкретных условиях и с конкретными людьми задавать данные вопросы было неэтично. Считаю, что исследователь вправе изменить ряд вопросов программы, если сбор информации по ним в конкретной обстановке неэтичен.

2 В большинстве случаев, конечно, необходимо обозначать для информанта цель исследования. Однако о темах, которые людям непонятны, лучше не говорить.

На мой взгляд, пользоваться «легендой» нельзя. Лучше представляться информантам тем, кто ты есть на самом деле. Другое дело, как тебя будут называть — журналистом, писателем и т.д.

Я против скрытого пользования любыми техническими средствами (фото, аудио, видео), как бы ни был интересен материал, если не получена санкция информанта. Ненавязчиво добиться разрешения — это вопрос такта и мастерства собирателя.

3 Исследователь должен быть беспристрастным наблюдателем. Другое дело, что порою это трудно выполнимо. Беспристрастность исследователя не означает его безучастность или отсутствие помощи в бытовых вопросах, но обязательно нужно говорить, что приехали не помогать в бедах, а изучать. Если самому исследователю трудно видеть многие нелюбезные стороны жизни в поле, то лучше полевой работой не заниматься.

Стопроцентного невмешательства быть не может, так как исследователи живут рядом с информантами, постоянно контактируют с ними. В то же время нельзя нарушать их жизнь. Это не исключает конкретной помощи при завязывании контактов, однако следует избегать тесных дружеских контактов. Если дружба все же возникла, то ею надо дорожить. В каждом населенном пункте друзей быть не может, но стоит стремиться к тому, чтобы там, где ты работал, к тебе хорошо относились.

В большинстве случаев наши публикации серьезного влияния на жизнь людей не оказывают. Если же они могут существенно

изменить обстановку на месте, стоит очень серьезно взвесить — публиковать или не публиковать данные сведения.

4

Если публикация частных сведений может принести ущерб информанту, то лучше этого не делать. Практика зашифровки имен информантов в общем решает проблему с юридической и этической стороны, но только при сборе информации в городе. В деревне это почти бесполезно (разве что с юридической стороны): все друг друга знают, по сюжетам могут легко определить источник информации. Между тем зашифровывать место сбора информации нельзя, поскольку сведения становятся абсолютно абстрактными.

На мой взгляд, формальная санкция информанта на сбор и публикацию сведений о нем должна быть в практике полевой работы обязательной, хотя здесь могут возникнуть сложности: в нашей стране люди избегают без особой необходимости ставить свою подпись.

На мой взгляд, степень и форма знакомства информанта с результатами полевого исследования может быть следующей. Если информант попросит показать записи исследователя с его слов, то, безусловно, нужно показать эти записи в дневнике. Также можно познакомить с работой, опубликованной по данным материалам. Но полностью показывать полевой дневник и отчитываться информанту о проведенном исследовании считаю все-таки лишним. Мы можем попасть под жесткую цензуру людей, далеких от науки или под цензуру явно пристрастных мнений.

5

Обсуждение этических вопросов при проведении полевых этнографических исследований мне кажется очень важным по следующей причине. Современная этническая специфика чаще заключается не в объектах материальной культуры, а в тонких моментах, начиная от того, чем люди зарабатывают на жизнь, какие у них установки и каковы мотивы их поступков. С этим сталкиваются практически все полевые исследователи.

Создание корпоративного соглашения по исследовательской этике считаю безусловно необходимым. Есть же этические правила (заповеди) у врачей и журналистов. Совершенно другой вопрос — это практика соблюдения этики. Эффективное функционирование подобного документа среди этнографов и антропологов России мне кажется возможным. Мало того, если есть соглашение, то можно говорить о его соблюдении или несоблюдении. Если соглашения нет, то как определить: соблюдается или не соблюдается этика полевых исследований.

ЕЛЕНА ЧИКАДЗЕ

Я начну не по порядку, поскольку правила, которыми я руководствуюсь в поле, и определяют в основном главную для меня этическую проблему.

По моему глубокому убеждению, исследователь должен быть предельно — насколько возможно — честен со своими информантами. Однако использование (частичное) легенды, на мой взгляд, допустимо — в тех случаях, когда истинная цель исследования может как-то задеть информанта (например, при исследовании деструктивных практик) или же излишне актуализировать тему (например, при исследовании этничности). Можно переформулировать для информантов тему исследования, акцентируя какой-либо другой его аспект. Но информанты должны знать, для чего и как мы работаем и как будем использовать полученные материалы. Прибегать к технике (диктофону, фото- и кинокамере) без ведома и согласия информантов категорически недопустимо.

Хотя исследовательские каноны требуют от нас беспристрастности, однако мой опыт показывает, что, живя в поле недели и месяцы, оставаться на позиции отстраненного наблюдателя практически невозможно. С неизбежностью возникают взаимные симпатии и привязанности (об антипатиях речи не должно идти, поскольку, по моему глубокому убеждению, исследователь *должен любить* своих информантов и преодолевать любое негативное к себе отношение с их стороны, если таковое ощущается). Вот здесь и кроется основная — для меня — этическая проблема.

Ты становишься для информантов родным и близким человеком, с тобой делятся сокровенным, а ты пытаешься скрупулезно занести все в полевой дневник и проанализировать. Люди к тебе привязываются, а ты возвращаешься домой и — под грузом служебных обязанностей, разрастающихся связей (сетей) и домашних забот — все реже и

Елена Захарова

Чикадзе

Центр независимых
социологических исследований,
Санкт-Петербург

реже отвечаешь на письма, звонишь, вспоминаешь... Отсюда появляется чувство, с которым я лично никак не могу справиться: что ты *используешь* людей в своих исследовательских целях. Тот факт, что ты был искренен со своими информантами, «отвечал им взаимностью», — для меня слабое утешение.

Итак, избавиться от этого ощущения собственной нечистоплотности я не в состоянии. Единственное, что можно предложить: строго следовать остальным правилам полевого исследования. Полевой дневник социолога — его *личный* документ, не подлежащий обнародованию даже среди коллег (это не означает, конечно, что его нельзя, например, цитировать в публикациях — речь идет о документе в целом). Твои действия — в том числе и публикации — не должны наносить вред твоим информантам. Безусловно, все «действующие лица» в тексте должны быть закодированы, описываемая ситуация — анонимизирована насколько возможно (хотя при исследовании малых сообществ — деревни, например — это сделать довольно сложно).

Публикация по материалам исследования вызывает еще одну проблему: очень редко информанты соглашаются с нашей интерпретацией их жизни и проблем. И я честно скажу, что после первых подобных опытов я больше не отваживаюсь давать своим информантам читать текст до публикации. Это малодушие я стараюсь компенсировать следующим. Во-первых, стремлюсь избегать оценочных суждений (да и не дело социолога давать оценки) и категоричных выводов, во-вторых, пытаюсь как можно больше давать слово своим информантам.

И последнее, что хотелось бы сказать. Избежать своего влияния на жизнь информантов мы не в состоянии. Наша главная задача все та же — следить, чтобы это влияние не наносило вреда, а было насколько возможно естественным.

НОНА ШАХНАЗАРЯН

1

Специфика изучения локальных сообществ заключается в том, что все их члены не просто знают друг друга (включая генеалогические истории на протяжении нескольких поколений), но и очень интересуются дополнительными деталями. Видимо, чтоб ничего не было сокрыто от «объективного» суда, «ока» общины. Это создает подчас дополнительные проблемы для исследователя.

**Нона Робертовна
Шахназарян**

Кубанский Социально-
экономический Институт/Центр
Кавказско-понтийских
исследований, Краснодар

Случай 1. В октябре-ноябре 2004 г. я проживала в семье турок-хемшилов в Апшеронском районе Краснодарского края. Это был международный исследовательский проект, предусматривавший двукратную поездку с проживанием в семье, так называемое включенное наблюдение с четко заданным количеством интервью не менее чем по два часа каждое. Поселок представляет собой двенадцать домов, расположенных вдоль автомобильной трассы. Жители поселка почти все состоят друг с другом в родстве. С членами принимающей семьи я была знакома задолго до исследования, но на столь долгий (полугодовой) срок прежде не приезжала. Отношения в процессе исследования стали более теплыми и доверительными, но это случилось не сразу. Иногда чувствовалась легкая натянутость в отношениях с хозяйкой, когда я надолго уходила к соседям (= родственникам) брать интервью. Неудобными были несколько ситуаций после интервью, когда хозяйка расспрашивала о том, что мне рассказывали другие информанты. Обычно я отвечала, что по условиям исследовательского проекта я не могу сказать. Наиболее настойчивыми были расспросы как минимум в трех случаях.

Первый раз это случилось после интервью с будущей родственницей по свойству хозяйки. Ее дочь уже год как была обручена с сыном интервьюируемой. Свадьба несколько раз откладывалась из-за смерти близких родственников (дедушки жениха и двоюродного брата невесты), и за этой парой потянулся шлейф сплетен ввиду того, что жених считался завидной партией. И теперь моя хозяйка Нурие хотела узнать содержание нашего многочасового разговора с будущей свекровью своей дочери Гюльбахар. Кроме отзывов в адрес своей дочери Нурие было интересно знать о деталях «странного» поступка Гюльбахар, которая несколько лет назад приняла на воспитание девочку, поскольку своих дочерей у нее не было, было четыре сына.

Во второй раз расспросы были учинены после интервьюирования младшей снохи Нурие Мадины. Сама Нурие была старшей невесткой, которая осталась жить (значит, наследовать) в доме родителей мужа, хотя по обычаю оставаться должен младший сын с семьей. При этом каждая из невесток старалась представить себя в роли жертвы, проталкивая по всем каналам идею вынужденности своего решения оставаться с родителями/съезжать от родителей. Нурие беспокоилась, что мои беседы с Мадией могли ослабить или разрушить ее самопрезентации.

Третий случай был связан с беседой со старшим братом Нурие Сулейманом. Сулейман всегда был успешным бизнесменом, но поговаривали, что после нескольких рейдов со стороны

районных чиновников в тот момент он был практически разорен. Эта информация подтверждалась еще и тем, что он перестал оказывать материальную помощь всем родственникам, включая и Нурие. Она пыталась выяснить у меня его действительное финансовое положение: а может, это хитрая уловка брата, чтобы не выполнять своих родственных обязательств.

Таким образом, исследователь как носитель многосторонней и аккумулированной информации оказывается на пересечении жизненно важных интересов своих информантов. И здесь очень легко не просто «испортить поле», разрушить отношения с людьми, от которых получаешь кров, патронаж и много внимания, но и оказаться в фокусе недоразумений, кривотолков и страстных разбирательств между родственниками и другими членами общины.

В таких условиях исследователю не так просто выбрать правильную линию поведения и выдержать ситуацию с достоинством, не позволяя использовать себя как средство для унижения других членов общины. Затруднительным моментом является также то, что информанты постоянно прямо обращаются к исследователю, чтобы он рассудил, озвучил свое мнение по тому или иному вопросу, выступил в роли незаинтересованного арбитра.

Кроме того, сама ситуация интервью может спровоцировать некоторые суждения, которые могут быть причинами изменений если не в жизни, то в отношениях. Например, рефлексии супругов в присутствии друг друга открыли для одного из них совершенно новое видение своей личной ситуации.

Цитата из полевого дневника: 29.11.04. пос. К. Хасан и Лютфие Караибрагимовы. Хасан — профессиональный пчеловод. Живет на одной улице со своей прежней семьей. Женат на своей родственнице. Первый ребенок умер (Лютфие утверждает, что по недосмотру врачей), после чего врачи запрещали беременеть и рожать снова, пугая их уродствами. Лютфие не послушалась, теперь у них двое разнополых детей.

Хасан настоял на том, чтобы давать интервью при жене. Они подправляли друг друга. Дети (два года девочке и семь лет мальчику) мешали. Был момент неловкости, и я пожалела о том, что Хасан не захотел беседовать наедине, когда Хасан, между прочим, обронил, рассказывая о своем браке: «Моя жена выбирала меня, а не я ее». Жена удивленно взглянула на него и немного растерянно проговорила: «Да, я любила его и сказала родителям, что не выйду замуж, пока он не женится». Мы быстро ушли в другую тему, но настроение Лютфие заметно испортилось.

Проговаривания «течения жизни», которые без разного рода

воздействий со стороны исследователя могли бы так и остаться не озвученными, этически значительно нагружают деятельность исследователей. В то же время эти ситуации неподконтрольны никому, их мог бы спровоцировать кто угодно.

Случай 2. Весной 2001 г. в одном из населенных пунктов Нагорного Карабаха, где я собирала материал по женским исследованиям, я познакомилась с женщиной, участвовавшей в боевых действиях на различных фронтах карабахской войны. Она приехала в Карабах из Армении в 1992 г. в самые горячие дни армяно-азербайджанской войны. С моего сочувственного вопроса на школьном утреннике в честь дня победы в карабахской войне начались наши сотрудничество и дружба. Высокий эмоциональный градус как личных, так и формальных отношений в южных республиках бывшего СССР в общем известен, и у нас все развивалось именно в таком ключе. Она отдыхала только два дня после каждых десяти дней неотрывной службы за пределами города в военно-полевых условиях. Эта женщина посвящала мне все свои выходные — она служила в полку и находилась на оборонительных постах значительную часть своего времени. В результате она рассказала мне о своей жизни при помощи самых разных средств: видеосъемка, диктофон, беседы, письменные ответы на вопросы. Объем данной ею информации по разным периодам жизни был, конечно же, непропорциональным. Военную историю, как презентабельную и героическую, она передала во всей полноте и в мельчайших деталях, в то время как вопросы о довоенной жизни в городе, откуда она приехала на фронт, закрывала краткими, сухими ответами. Поскольку я задумала глубинное исследование одного случая, то записывала всю информацию о ней — мнения, отзывы, толки, слухи. В общем, стало ясно, что была какая-то темная история, после которой она вынуждена была оставить своих двух девочек своей бывшей свекрови, чтобы отправиться в Карабах (она была уже разведена к моменту прибытия в зону военных действий). При анализе всех ее интервью и прочей информации возникло предположение, что решение об участии в войне созрело в ситуации личного кризиса. Выглядело так, что она приехала искать восстановления своего имени или смерти.

Этическая проблема для меня заключалась в том, что она ожидала от меня совершенно другого текста о себе. Точнее, она была уверена, что публичный текст о ней может быть только таков (она показывала мне газетные публикации о себе). Мои же цели объяснить ей было трудно по нескольким причинам: я сама их тогда плохо видела из-за отсутствия времени и ввиду того, что само написание исследовательского (диссертационного) текста и трата такого объема времени и

средств на это были слишком далеки от реалий ее минималистского существования. Мне, можно сказать, повезло, что она просто доверилась мне. Каждый раз, когда я спрашивала ее, можно ли мне поместить тот или иной кусок в будущей публикации, она отвечала: делай все, что ты хочешь, делай как тебе удобно, я разрешаю. Но при этом, судя по ее репликам, она скорее ждала текстов о ее воинском героизме в духе возвышенного патриотизма местных и зарубежных (западные журналисты здесь частые гости) газетных публикаций.

В результате именно эта часть исследовательского текста вызвала и продолжает вызывать у меня наибольшее количество сомнений и вопросов. Если в остальных частях исследования я пыталась ухватить элементы конструкций, которые создают собирательный образ армянской женщины, и сотни интервью иллюстрировали одну или несколько идей, выведенных из самих же интервью, то в этом случае все исследование концентрировалось на одном конкретном человеке. Ситуация усложнялась тем, что она принципиально отказывалась от кодирования своего имени в тексте публикации. Более того, она настаивала на том, чтобы я отметила ее имя, фамилию и все подлинные данные о ее жизни. В противном случае для нее, очевидно, терялся смысл всей совместно проделанной работы. Но к тому времени из разных источников у меня накопилась другая информация и по крайней мере тогда мне она не казалась преувеличенной. Я слышала несколько историй о том, как, обладая точными сведениями, противная в войне сторона через сети спецслужб пыталась найти (преследовать?) этих людей, когда они покидали пределы Карабаха и Армении. Я поделилась с ней своими страхами, но она и слышать ничего не хотела, хохотала: «Ты думаешь, я их боюсь?! Пусть достанут меня, если смогут!» Тем не менее вопреки ее настояниям я с дотошностью провела процедуру защиты персоналий и другой информации, которая могла иметь военное значение. Но даже в этом случае возникала другого рода проблема, а именно: для местных жителей эти коды не работали: она была безошибочно узнаваема в силу яркости, «анормальности» поведения.

В процессе написания текста меня как исследователя мучили сомнения как никогда раньше и как никогда после, потому что историю ее довоенной жизни я практически вывела умозрительно, сконструировала, выстроив цепь событий и последствий, которые вылились в ее последующие жизненные стратегии. Хотелось перепроверить свои выводы, взять еще несколько интервью. И я поехала к ней спустя два года. А вдруг окажется, что все мои построения — полный бред, вымысел, фантазия. Что тогда? Менять работу? Перейти просто на преподавание и больше никаких специальных исследований, свя-

занных с людьми? К моему облегчению, конструкции оправдались. Я хорошо запомнила эту встречу. Поскольку мы переписывались через третье лицо (она не пользуется компьютером и, видимо, не очень свободно читает по-русски), я была в курсе значимых событий ее жизни — вручения государственной награды «За отвагу», рождения второй внучки. В тот вечер ее не оказалось дома, она была на свадьбе в актовом зале местной школы. Мои провожатые провели меня, уверяя, что она будет мне рада. Она покинула свадебное торжество и вернулась со мной в свой дом. Трудно описать, на какой эмоциональной ноте все это происходило. Я отвечала тем же. В этот раз мы общались совсем как близкие люди, обменялись подарками. Она не знала, куда меня посадить и чем кормить. Сидели допоздна, потому что наутро она уходила на позиции на 10 дней. Я была слегка напряжена, потому что решила показать ей текст. Она взяла текст в руки, полистала и вернула: «Я знаю, ты ничего плохого не напишешь, я верю тебе». Я вдруг поняла, что она не прочтет столь долгожданную историю своей жизни никогда. Не сможет. Из-за языкового ли барьера, или из-за беспредельной скучности научного дискурса, из-за терминологической ли нагруженности — это уже другой вопрос. В тот момент, осознав все это, я еще более остро почувствовала свою индивидуальную ответственность как автора презентации чужой жизни. Она даже не сможет узнать, что ее ожидания не то чтобы обманулись, но не совсем совпали с целями и духом моего исследования. Интересно, и никогда не узнает? Может, ее внуки узнают когда-нибудь?

В целом статья (параграф в тексте диссертации) представляли ее, в общем, в очень выгодном свете как с точки зрения гендерной теории, так и с точки зрения ценностей неотрадиционалистской культуры, за исключением пункта о ее личном конфликте с окружением и предполагаемой несостоятельности как матери, по мнению носителей патриархатной идеологии (этот факт муссировался оппонентами в каждом отзыве). Но слов из песни не выкинешь. Хотелось бы все же знать, что она сказала бы на все это.

Случай 3. Недавно я готовила публикацию по советской биографии для московского журнала «Вестник Евразии». Объектом исследования была моя прабабушка по имени Сатеник, погибшая от осколочных ранений в карабахской войне. Пытаясь избежать методологических вопросов, связанных с созданием «целого» текста, я обратилась к полифоническому письму, т.е. к рваному, противоречивому и многоголосному, где каждый из интервьюируемых родственников говорил от своего лица. Статья получилась легкая для чтения, ненагруженная терминами, в стиле *Creative nonfiction*. Все родственни-

ки довольно серьезно отнеслись к моей затее (в их понимании «увекочить имя нашей неординарной прабабушки») и с вдумчивой аккуратностью наговаривали мне на диктофон рассказы-воспоминания о прабабушке. Одна из ее внучек как очевидец событий рассказала случай из жизни прабабушки. Поскольку история эта была эмоционально сильно заряжена и передавала новые стороны характера героини биографического исследования, я, не задумываясь, включила ее в текст в следующем виде:

1984-й. Лариса (внучка): *«Я тогда работала в исполкоме. Аванесян Амик, наш секретарь окружкома, он корнями из села Сос, вызывает меня в свой кабинет и говорит буквально следующее: „Вы — внучка Согомонян Сатеник?“ „Да, — говорю, — это бабушка моя“. „Она жива?“ „Да“. „Отвезешь меня к ней?“ Да, говорю. Садимся в его служебную „Волгу“ и едем к Сатеник-татик. Здравствуйте-здравствуйте. Представляю его бабушке — член бюро окружкома. А она сама до конца Советского Союза была почетным членом этого самого бюро. Так-то в собраниях уже по старости не участвовала, но числилась. Что означало, что на все праздники, 8 марта, 1 мая, 7 ноября, ей присылали пригласительные билеты на все мероприятия, дарили подарки, предоставляли слово для выступления с трибуны... Ну, как заслуженному человеку, партийному работнику. Ей поэтому показалось, что он как раз приехал по такому вот поводу, пригласить ее на какое-то мероприятие. Ну, ситуация привычная для нее. Захлопотали, подали чай, расселись. И он вдруг совершенно неожиданно для нас запускает руку в карман и достает пять николаевских монет и кладет их перед ней на стол. Мы оцепенели. Она не верила своим глазам. Спрашивает его: „Откуда ты знаешь, что это мое золото?“ А он говорит, что бабушка ему рассказала, что такая вот женщина, имя назвала, в такое-то время с ребенком на руках подходила к туруну (традиционная печь, вмонтированная в землю), когда мы пекли хлеб. Давала монету и брала хлеб. Один золотой за одну лепешку хлеба. „Мы тогда тоже в нужде были, времена тяжелые были, и я брала это золото. Но я оставила его, не растратила, хранила на черный день“. „Теперь бабушка вот уже второй месяц не встает с постели. Непокойно ей, просила меня разыскать вас и вернуть ваши монеты, чтоб со спокойной душой представиться богу“. Да, он еще поинтересовался, что стало с тем ребенком. Сатеник рассказала, что она выучилась на фармацевта в Ереване, вышла замуж тоже в Мартуни, но в Мартуни в Армении замуж вышла. Такие вот разговоры были. Такая вот история, прямо на моих глазах все произошло».*

Женя (невестка): *«Да, правда, вернула Сара золотые. Слышала я от людей, что эта Сара, что маме в голод хлеб продавала,*

совестно ей потом было, что с бездомных, оборванных беженцев, деньги за хлеб брала. Вернуть пожелала их перед смертью. Муж у нее ослеп, говорят... наверное, думала, что за этот грех их бог наказывал. Говорили люди, призраки ее мучили — женщина статная, высокая, стоит возле туруна с ребенком на руках, дожидается, потом золотой протягивает, берет хлеб и уходит. И так несколько дней подряд... А кольца свои памятные, дорогие ее сердцу, она специально разыскивала потом, в 50-е, когда крепко на ноги встала, выкупить назад хотела — не вернули, отрицали. Не было такого, говорят. Видишь, разные люди встречаются. Отказывались, мол, не было такого, никаких колец они на хлеб не меняли. А Карабах, он небольшой, она все помнила, когда, кому, что отдала... Память о первом муже была, понимаешь, я так думаю. Она сама особо об этом не распространялась».

В случае с историей прабабушки я ждала критики относительно нескольких пунктов ее биографии, где свидетельства не просто не совпадали, но прямо противоречили друг другу. Меня беспокоили обсуждения и претензии, связанные с параграфом «Скрытая сторона жизни». Там не было эпатирующих историй личной жизни, но были рефлексии о них. Однако никогда не знаешь, откуда ждать подвоха. Дискомфорт случился совсем по другому поводу. Дочь Сатеник, которая тоже давала интервью, прочла текст. В один из моих приездов в Ереван она пригласила меня на беседу, и ее главный вопрос был о том, куда делись эти золотые и почему ей как дочери, ближайшей родственнице, не досталось ни одной из пяти монет? Как память о матери, конечно. При этом ее собственная дочь ходила мрачная, фыркала на мать, расстроенная всем этим разговором. Эта ситуация была равно неприятная, как и внезапная. Я поняла, что до того, как этот разговор состоялся, он долго «зрел», обсуждался. Раскопанной из завалов памяти информацией я внесла беспокойство в чью-то жизнь; возможно, бурные разбирательства между родственниками маячат в близкой перспективе. Мне уже пришлось держать ответ, объясняя, что сама я этих монет никогда не видела и об их дальнейшей судьбе не знаю ровным счетом ничего, и это вообще-то не была моя цель.

2

О каком сокрытии целей идет речь, если обычно ученый на стадии полевого исследования сам не знает, во что, когда и где выльется интервью. В большинстве случаев я честно объясняю цели своего приезда. Однако ответы всегда кажутся информантам малоубедительными. Четко отштудированные и повторяющиеся тексты легенд работают лучше. Мне приходилось сталкиваться с подозрительностью и недоверием информантов (по большей части среди маргинализированных групп).

Был курьезный случай, связанный с использованием технических средств. Я спросила у престарелого лидера хемшилской общины разрешения записывать разговор на диктофон. Он очень мягко отказал. Спустя около часа с лишним, когда я хотела украдкой посмотреть время на экране мобильного телефона, лидер живо отреагировал на нажатие кнопки подсветки: «А-а-а нет, доча, я же просил не записывать..!».

Случай из опыта армянской коллеги. Культурная дистанция между исследователем и информантом, в том числе и в рамках одного и того же культурного контекста, нередко имеет место. Представления о том, что считать тайной, секретной информацией, часто различаются. Этнолог Гаяне Шагоян (Ереван) собирала материал о субкультуре гадалок в армянской глубинке. Гадалка благосклонно разрешила записать все интервью на магнитную пленку. Более того, она рассказала много подробностей о том, как она «шулерничает» с клиентами. Она под запись рассказала о том, как она пошла на воровство. Интервью длилось несколько часов. И вдруг информантка попросила Гаяне выключить диктофон, потому что она собирается ей сказать нечто секретное о себе. Гаяне выключила. Гадалка наклонилась к самому уху (несмотря на то, что в комнате больше никого не было) и прошептала, чеканя каждое слово: «Я все тебе расскажу... Я замужем второй раз! ...У меня был первый муж».

Десакрализация исследователя как пользователя технических средств в аграрного типа сообществах в отличие от урбанизированных пока еще не произошла. В этом смысле он продолжает оставаться осью всеобщего внимания как носитель средств запечатления лиц и ситуаций «здесь и сейчас». Кардинально противоположное отношение к подобной возможности бесконтрольно фиксировать все события демонстрировали носители локальной власти. Самим фактом наличия времени, желания и специальных средств для наблюдения исследователь, по-видимому, подрывает монополию их паноптического контроля, фрагментации их знаний и манипуляций с представлением этого знания другим членам сообщества. В связи с этим у меня были некоторые неприятности, так и не переросшие в настоящие проблемы лишь по той причине, что я была инсайдером и сети моей семьи срабатывали в мою защиту. Тем не менее с некоторыми очень близкими и дорогими мне родственниками дошло практически до полного разрыва отношений. Дело в том, что исследователю приписываются некие статусы и властные полномочия: корреспондента газеты, уполномоченного (наблюдателя) неких X-структур, шпиона, а то и всех вместе. Сцены из гоголевского «Ревизора» могли бы послужить лучшей иллюстрацией для передачи атмосферы подо-

зрительности, фобий, связанных с действиями «невидимой руки» Москвы, американцев, третьей силы (примечательно, что версия азербайджанской «руки» здесь не фигурирует, думаю, именно потому, что я была местная, «своя»). Интерпретации эти иногда выглядят не совсем абсурдными из-за некоторых случайных совпадений. Например, экстраординарное событие — смещение с должности начальника районной милиции — пришлось как раз на последние месяцы моего пребывания в районном центре. Увольнение с позиции было драматическим, вплоть до суматошного бегства шефа милиции за пределы государства. Этим должностным лицом был зять моей тети (по материнской линии), и до этого события тетя провела быстрый пересмотр моих аудио— и видеозаписей, задавала вопросы о моей работе бабушке (своей матери), у которой я жила все восемь месяцев; моей семилетней дочери. Я готова была все объяснить и сама, но меня не спрашивали и мне вряд ли поверили бы.

3

Неправильно поставленный вопрос может вызвать ситуацию, когда исследователь невольно моделирует ситуацию. И здесь нужна осторожность.

Пример. Вместе с российскими и зарубежными коллегами из международного проекта «Перепись 2002» мы проводили опросы месхетинских турок в Краснодарском крае. Ошибка заключалась в том, что я перенесла дух предыдущего интервью на следующее. Предыдущий информант поделился своими опасениями, что эта перепись проводится властями для того, чтобы пересчитать их, турок, и потом выселить куда-нибудь. Сразу после этого разговора мы выехали на автомобильную трассу, где торговали в том числе и турки. Я обратилась к одному из них с вопросом, не боится ли он предстоящей переписи? Конечно же, я имела ввиду не то, что ее надо бояться, а то, что такие страхи уже не раз высказывались другими турками. Вопрос вызвал замешательство, и мои дальнейшие объяснения не имели эффекта. Он, видимо, решил, что вопрос задан неспроста, у меня доступ к информации, значит, я что-то знаю об этом.

Особую осторожность в отношении с информантами, на мой взгляд, следует проявлять в связи с гендерными исследованиями в обществах патриархатного типа, особенно если исследователь придерживается радикальных феминистских взглядов. До опасного «брутальные» ситуации в поле известны мне в контексте гендерных исследований, как это случилось с моей американской коллегой Ануш Таулян. Она попала в Карабах на гребне романтическо-патриотической волны. Выполняла работу медсестры во время войны и прожила там около восьми

лет. Она дружила с женщинами, много общалась с ними, пыталась научить их вождению, плаванию в местном пруде. Все ее начинания заканчивались неудачно из-за реакции мужей вовлеченных женщин. Это было настоящее противостояние, в результате которого исследовательница подверглась сильному давлению со стороны хорошо солидаризированного мужского сообщества, и ей пришлось вернуться в Америку в самом подавленном состоянии.

Я узнала об этой истории в самом начале своего приезда в поле. Это помогло мне серьезней относиться к своей коммуникации как с женщинами, так и с мужчинами. Тем не менее эгалитаристские идеи прочитывались уже в самом образе существования исследовательниц. Феминистские идеи трансцендентно казались многим из местных женщин очень даже симпатичными, и они с помощью речевых практик хотели выглядеть либералками, «эмансипэ». Особенно эмоциональные женщины иногда ввязывались в спор, в своего рода словесный бой, разоблачая патриархатные правила, в то время как у них не было оснований для независимого существования и развод, на который они, собственно, могли нарваться, мог разрушить основы всей их жизни.

В этом смысле исследователь, безусловно, провокатор ситуаций и разговоров, точнее, проговаривания и, значит, нового осмысления того, что в обычной рутинной ситуации скорее всего не всплыло бы. И это, хотим мы того или нет, меняет если не саму жизнь, то, по меньшей мере, отношения между людьми, хотя где проходит граница между жизнью и отношениями (особенно в замкнутых обществах типа изучаемых) сказать непросто. Разговоры, пересуды, сплетни в конечном итоге часто формируют личные отношения и само качество жизни. При этом тут могут иметь значение такие факторы, как гендер, класс, символические/генеалогические, экономические капиталы, статус (внутриобщинный, возрастной и дюжина других), включенность различных групп в различные отношения и сети.

Само присутствие исследователя создает некую новую ситуацию, когда он — зритель, для него ставятся маленькие экспериментные сценки-самопрезентации, подчеркиваются статусы и занимаемое место в общине.

Что касается ресоциализации самого ученого, стремительных изменений его идентичности и мировоззрения, исследователь в поле на самом деле очень уязвим и зачастую полностью зависит от личного отношения членов принимающей семьи. В то же время он имеет возможность писать тексты о них. И в этом его власть. Но это потом, вне ситуации поля, в кабинете.

Безусловно, он приезжает из пропущенного через себя поля другим человеком. В этом смысле он сам становится объектом, поскольку не может контролировать эти изменения. Хотя сама поездка и исследование — акт его свободного выбора.

4 Считаю необходимым создание корпоративного соглашения по исследовательской этике в России, хотя в эффективное функционирование такого документа не верю, поскольку авторитарность в российской науке, кажется, еще долго будет не преодолена. Могут ли работать предписания, когда в недавнем прошлом известны случаи похода ученого и его студентов к информантам в компании милиционеров, чтобы заставить их дать письменную информацию (ответы на вопросы опросника). Контекст особенностей российского правового сознания тут тоже может быть актуальным.

5

Особенность российской традиции, по-моему, в ее особой неразборчивости, в той легкости, с которой задаются вопросы (в данном случае я критикую и себя). Исследователь, как и журналист, проносится как вихрь, «снимает» экзотическую (в случае с антропологами) / скандальную (в случае с журналистами) информацию, берedit сознание, нарушает привычное течение жизни... и исчезает. Вообще никак не отработаны механизмы защиты интервьюируемых, особенно если это видеорепортаж, транслируемый по центральным каналам телевидения.

Случай с месхетинским турком в Саук-Дере. Записано со слов одного из лидеров общества «Ватан» Аладдина Самсонидзе (1942 г.р.) 27 мая 2002 г. в поселке Саук-Дере Краснодарского края:

Гражданин России с 1995 года, получал его через посольство в Узбекистане. Национальность в одном документе значится грузин, в другом записан азербайджанец. Я держу маленькое заведение типа кафе в Баканке, «Дары кухни» называется. Я его недавно расширил, навес добавил, по разрешению, конечно, все законно. Почти уже оформил на себя, без одной подписи. Но после выступления в передаче «Человек и закон» 23 августа 2001, где я давал интервью, хотят снести кафе, дали команду убрать. Вдруг выяснилось, что я лидер турок. Все документы в архитектуре, но мне на руки не дают. Пришла бумага:

«Предписание от 13.11.2001 о необходимости сноса самовольно выстроенной пристройки к торговому киоску в срок до 12.01.2002. Решением комиссии по осуществлению государственного градостроительного контроля выстроенный навес размером 3,5 на 4,0 м к павильону «Дары кухни» на территории рынка в ст. Нижнебаканской (вх. № 698 от 05.06.2001) снести.

Добровольно сносить постройку Самсонидзе отказывается. Постановляю снести. Подпись: Глава города Крымска и Крымского района В.Н. Рыбин».

28 августа 2001 года был так называемый сход «граждан и казаков» по поводу драки, во время которой кого-то пырнули ножом. Меня туда пригласили. Обвиняли, ну кого еще, турок. Собралось на площадке рядом с винзаводом человек 150-200 казаков во главе с Безуглым [казачий атаман. — Н.Ш.]. Было человек 30 милиции, глава Молдаванского округа Кихаев К.В., подполковник из отдела следствия Фатиков Э.А. (он, правда, хороший человек) и несколько других должностных лиц. Безуглый обвинял во всем турок, я пытался противоречить ему. На меня бросились казаки, и я стал убегать. Меня преследовали человек пять. Слава богу, успел запрыгнуть в машину знакомого, еле ноги унес. Я подал жалобу в прокуратуру на имя прокурора Крымского района Слепичева Н. П., но не нашлось свидетелей.

Некоторые имена в тексте изменены.

БРАЙАН ШВЕГЛЕР

От власти этики к этике власти

Впервые я обратил внимание на практические ограничения нынешней американской системы этического контроля над исследованиями, занимаясь в Словакии в конце 1990-х гг. полевой работой для диссертации. Перед тем как приступить к реализации проекта, посвященного взаимоотношениям концептов национальности и государственной власти, я сделал описание будущего исследования, детали которого соответствовали принципам профессиональной ответственности Американской антропологической ассоциации [AAA 1986]. Затем я передал это описание в институциональную комиссию моего университета, которая отвечает за этичность исследований о человеке. Мой проект, как и большинство проектов исследователей из Соединенных Штатов, был подвергнут контролю пересекающихся друг с другом этических инстанций с самого момента его создания: профессиональной (Американ-

ская антропологическая ассоциация) и правовой (институциональная комиссия и федеральные правила, лежащие в основе ее работы). Условия одобрения проекта предполагают специфические процедуры, через которые он должен пройти: от меня потребовали предоставить от респондентов согласие, данное на основе полученной информации (informed consent), обеспечить безопасное хранение данных, а также использовать псевдонимы для того, чтобы скрыть идентичность участников. За всем этим стояло представление о том, что данные процедуры минимизируют вред, связанный с участием в проекте; кроме того, все это сопровождалось исходящим от комиссии неофициальным предупреждением избегать опасности, которая может грозить информантам.

Я всегда помнил об этих требованиях, занимаясь полевой работой. Начиная работать с информантами, описывал исследование, а также сообщал, что буду использовать псевдонимы. Согласие на участие в исследовании они давали с четким пониманием заранее определенных условий. Поэтому я был весьма удивлен, когда один из моих собеседников опубликовал записи наших разговоров в местной газете. Этот поступок участника исследования оказался причиной немаловажного для меня беспокойства этического характера. Не нарушил ли я каким-то образом в результате действий этого человека гарантии, данные другим? Не окажется ли опасным для приватности моих собеседников проявление публичности относительно моего исследования? Не отменяет ли этот поступок мои обязательства по сохранению приватности этого человека, рассказавшего публично о своем участии? Должен ли я проинформировать комиссию об этом событии? Эти этические головоломки отнюдь не были неразрешимыми, тем не менее они продемонстрировали, насколько нашим этическим кодексам и правилам не хватало адекватного понимания исследования как социальной деятельности, на которую влияют действия и установки его участников.

Нельзя сказать, будто что-то не так с надзором, который осуществляют комиссии по этике. Они требуют внимания к социальным отношениям, возникающим в контексте исследования, а также к основаниям этих отношений, отраженным в правилах. Став в 2002 г. членом такой комиссии, я давал тот же совет: обращайте внимание на социальные следствия своих действий. Тем не менее вопросы, возникшие благодаря этой газетной статье, указывали на неверное представление о власти и субъектах действия в рамках встречи исследователя и респондента. Эти этические принципы предполагают, что исследователи со всей необходимостью мобилизуют большую социальную власть и авторитет, чем их собеседники, а также

что исследователи способны контролировать условия отношений, возникающих в рамках исследования. Более того, эти правила рассматривают процедуру получения согласия, данного на основе полученной информации, которая подчеркивает эти предполагаемые властные неравенства в качестве предпочтительного способа продемонстрировать уважительное отношение к интересам и пожеланиям участников проекта.

Мои заметки нацелены на то, чтобы перенести фокус разговора об исследовательской этике на динамическую сложность встречи ученого и информанта. Структуры современного этического надзора (профессиональные этические кодексы и американские федеральные правила) считают исследование определенным межличностным контактом — деятельностью, которая провоцирует предсказуемые риски для участников (что требует бюрократического контроля, нацеленного на минимизацию этих рисков) и осуществляется в соответствии с нормализующими деконтекстуализациями социальных взаимодействий, делающими исследование понятным в рамках институциональных «культур отчета» [Strathern 2000: 1–18]. Сила этого представления об этике проистекает из социальной исключительности, которой наделяют взаимодействие в рамках исследования бюрократические и концептуальные структуры, активно (в случае системы комиссий) или пассивно (исходя из профессиональных кодексов исследовательской этики) осуществляющие надзор над исследовательской деятельностью. В настоящее время требуется реконтекстуализация исследовательской этики — реконтекстуализация, которая признает, что взаимодействия между ученым и информантом являются манифестациями переговорного процесса по поводу власти, намерений и ожиданий. Короче говоря, этика исследования должна быть этикой власти. Власть голоса, намерения, личности.

Мне представляется необходимой дискуссия об исследовательской этике, которая фокусировалась бы на социальной прагматике власти. Такая дискуссия стала бы критикой нынешней системы регулирования исследовательской этики в США — системы, которая в глобальном масштабе находится на подъеме. В этом мои соображения вписываются в хор критических выступлений против институциональных комиссий и этического надзора как разновидности цензуры [Hamburger 2005], антиисторического морализаторства [Shweder 2004], как перегруженных полномочиями «*привратников, охраняющих „ответственный характер“ исследования*», страдающих от бюрократического «рвения» [Gunsalus et al.], а также как искажения философских требований этических принципов [Simmerling, Schwegler 2005]. Данные заметки не нацелены на отвержение или на пересмотр этой критики. Мне

кажется, что телос протекционизма, лежащий в основе нынешних принципов этического контроля и сопутствующей бюрократической инфраструктуры, основан на неверном понимании социального характера исследования. Американские антропологи продолжают обсуждать, соответствуют ли традиционные методологии данной дисциплины правовым определениям исследования, подведомственного надзору комиссий, несмотря на заявление, сделанное в 2004 г. Американской антропологической ассоциацией, где было отмечено, что этнография вообще-то входит в ведение комиссий по надзору [ААА 2004]. В этих важных дискуссиях недостаточно затрагивались концептуальные основания нынешней системы этического контроля над исследовательской работой. Уместным представляется не вопрос о том, соответствует ли этнография определениям исследовательской работы, приведенным в правилах, а верно ли эти правила и их философские основания моделируют взаимодействия исследователя и респондента.

Без признания социальной прагматики исследовательской работы и правовой акцент на защите участников, и призыв к сопротивлению надзору расширяют концептуализации социальных отношений — концептуализации, которые являются антитетичными усилиям антропологии. Хотя в их задачу входит гарантировать, чтобы в ходе исследования проявлялось уважение к людям, комиссии часто делают обязательными нацеленные на минимизацию риска процедуры, которые не учитывают пожелания участников исследования, как свидетельствует эта история с газетой. Протесты против предложенной комиссиями модели, подчеркивающие, что работа комиссий является угрозой интеллектуальной свободе, или критикующие неоправданное бюрократическое рвение, сходным образом преуменьшают то, насколько взаимодействия исследователя и респондента являются межличностными структурами. Короче говоря, если любая критическая этическая позиция оказывается манифестацией социальной, политической или исторической структуры власти, угрожающей свободе исследователя (которая сама является продуктом либеральной идеологии личности), тогда исследователь является единственным, последним и наиболее подходящим этическим арбитром и субъектом. Однако это именно то самое моральное высокомерие, которое пытается уравновесить институциональный надзор в своих попытках защитить участников исследования.

Профессиональные и правовые этические кодексы могут играть позитивную роль в исследовательской работе. Давая ученым возможность поразмышлять над рисками и выгодами, которые заключает в себе участие в исследовании, процедуры этического надзора могут способствовать улучшению структу-

ры проекта, а также отношений между исследователями и участниками. Исследователи, с которыми я работал как член комиссии, отмечают, что процесс рассмотрения проекта поощряет критическую рефлексию по поводу исследовательских практик. Нынешние американские этические кодексы и правила, однако, неадекватно оценивают переговорный процесс по поводу доступа к информации, намерений и возможностей, который конституирует взаимоотношения между исследователями и участниками исследования. В клинике или во время этнографической полевой работы предполагаемый дифференциал власти между исследователями и участниками — как он представлен в рамках принципов исследовательской этики — неадекватно отражает сложную и динамичную социальную прагматику межличностных отношений. Например, привилегированное положение, которое занимает в рамках данной системы согласие, данное на основе полученной информации, имеет своим следствием изъятие исследования из социального контекста, в котором это согласие имеет место. Несмотря на интенции, лежащие в основе профессиональных этических кодексов и институциональных комиссий, заключающиеся в том, чтобы способствовать улучшению проекта, вводить определенные ограничения или сделать проект безвредным для людей, некоторые исследовательские проекты не могут считаться совместной работой ученого и информанта; некоторые едва приносят какую-то выгоду участникам, а некоторые предпринимая социальные действия, которые не могут быть учтены самой прозрачной комиссией по надзору. Этическая забота об участниках исследования связана не столько с надзором и контролем (то есть с регулятивной этической властью), сколько с осознанием *«нравственной асимметрии в ситуации поля»* [Geertz 2000: 33].

Социальность функций

Клиффорд Гирц писал о том, что и ученые, проводящие полевые исследования, и участники осуществляют власть и оказывают влияние на отношения, возникающие благодаря встрече в рамках проекта. Исследователи обладают научной легитимностью, деньгами и связями с институциональными властными структурами; участники открывают доступ в сообщества, к экспертному знанию и социальной подлинности [Geertz 2000: 33–35]. Для Гирца калибровка этих взаимных ожиданий в рамках отношений, возникающих в полевой работе, поддерживает «фикцию», укорененную в «этической двойственности» намерения [Там же: 3]. Исследователь и участник поддерживают отношения благодаря присущему социальным контактам «нравственному напряжению», возникающему в связи

с многообразием ожиданий. Власть в отношениях, существующих в рамках исследовательского проекта, таким образом является многообразной и многовекторной. Исследовательский проект поддерживается не тем, что участник готов уживаться с насилием, осуществляемым исследователем — тем, что дарует согласие на покорное участие, границы которого четко определены. Скорее, исследование поддерживается постоянным балансом власти и намерения. Это балансирование поддерживает фикцию взаимных ожиданий у исследователя и респондента.

Правила, на основании которых действуют комиссии, напротив, выносят взаимодействие, осуществляемое в рамках проекта, за пределы межличностных отношений. Исходя из правил и практик комиссий, которые претворяют их в жизнь, исследование рассматривается как по сути дела опасная встреча, требующая внешнего надзора в соответствии с правилами, кодифицированными ради благих целей. Исследование мыслится как специфическая встреча, подчиняющаяся своим правилам и коммуникативным требованиям. Акцент, который сделан в правилах на абсолютной открытости процедуры получения согласия, данного на основе предоставленной информации, нацелен на то, чтобы сделать имплицитные следствия социальных отношений прозрачными благодаря согласию на участие в исследовании, заключаемому на контрактной основе. Однако почти ничего не говорится об отношениях между исследователем и участником, которые являются качественно иными по сравнению с другими социальными взаимодействиями и которые оправдывают приостановку социальных норм взаимодействия. Даже профессиональные этические кодексы, вроде кодекса Американской антропологической ассоциации, признающие, что объектами исследования являются *«многочисленные результаты взаимодействий между людьми»* [Strathern 2006: 294] (а не сами люди), отделяют исследование от других типов социальных взаимодействий. Хотя этический кодекс Американской антропологической ассоциации позитивно рассматривает согласие, данное на основе полученной информации, в качестве повторяющейся, построенной на переговорах процедуры, в нем подчеркивается, что согласие, данное на основе полученной информации, является эксплицитным признанием полученного в результате переговоров согласия участника с намерениями исследователя. В этическом кодексе ассоциации взаимодействия в рамках исследования принадлежат к числу личных и профессиональных взаимоотношений, порождающих этические обязательства. Кодекс, тем не менее, указывает, что исследование вводит свои собственные, особые обязательства, даже тогда, когда у исследователя есть дополни-

тельные личные обязательства по отношению к участникам. Поэтому в кодексе исследовательские обязательства отграничены от всех прочих и должны выполняться так, как если бы исследование являлось отделенным от других форм социальных взаимодействий.

Бюрократическая власть и регулирование этики

Исследовательская этика все чаще понимается как *«область, находящаяся под юрисдикцией бюрократии»* [Weber 1978: 956] и предназначенная для руководства практикой исследования. Бюрократизация исследовательской этики отрезала этику от ее философских истоков и отделила исследование от межличностных отношений. Этика подчиняется бюрократической структуре: правовые определения отличают исследование от других форм социального поведения, структура и практика комиссий по этическому надзору определяются законодательным актом; возник кадровый состав дипломированных, профессиональных администраторов в области исследований о человеке, был выработан набор принципов, делающих возможным *«„объективное“ ведение дела [детерминации этического] <...> в соответствии с **предсказуемыми правилами** и „незвизрая на лица“»* [Weber 1978: 975; выделено автором. — Б.Ш.]. Бюрократизация одновременно исследования и этики описывается как законодательная реакция на случаи злоупотреблений в биомедицинских и социальных науках — начиная от экспериментов нацистских врачей и вплоть до исследований, посвященных стигматизированным формам социального поведения, — и выставляется в качестве средства не допустить в будущем исследовательских проектов, которые могут стать причиной подобных злоупотреблений (см., напр.: [National Research Council 2003: 59ff]).

Бюрократическая регламентация основывается на управленческих артефактах, которые должны зафиксировать соответствие проекта твердым определениям этического, ограничивая сферу этики априорными абстракциями социальности исследования и сводя этический надзор к заполнению ведомостей. Наиболее важным из этих артефактов в Соединенных Штатах является Белмонтский отчет. В нем предложены философские основания системы защиты исследований и выделены три принципа, соблюдение которых делает исследование этичным: уважение к людям, милосердие и справедливость. Как широко известно, «Белмонт» является основным механизмом легитимации защиты людей в США. Требования федеральных законов, относящихся к сфере исследований о человеке (45CFR46), основываются на белмонтских принципах. Белмонтский отчет является единственным изложением эти-

ческих принципов, признанным в качестве легитимного основания для процедур этического надзора в контракте, который требует американское правительство от институтов, получающих государственное финансирование для исследовательской сферы¹. Поэтому американские университеты и другие исследовательские институты почти повсеместно проводят свои исследования в соответствии с белмонтскими определениями этического. Процедуры надзора комиссиями и профессиональные кодексы поведения молчаливо или эксплицитно включают принципы Белмонтского отчета. Комиссии по надзору следят за тем, чтобы риски для участников были минимизированы на стадии планирования (милосердие), чтобы выгоды и тяготы, связанные с участием в исследовании, распределялись справедливо (справедливость) и чтобы согласие на участие, данное на основе предоставленной информации об исследовании, было получено заранее и документировано (уважение к людям). Белмонтский отчет и сходные документы, принятые в других странах, являются основаниями *«разработанной системы мониторинга и надзора [за исследованием], которая многое оставляет на счет интерпретационного благоразумия комиссий по этическому надзору»* [Amit 2000: 227]. Интерпретационное благоразумие поддерживается институциональной неприкосновенностью «предсказуемых правил» и принципов.

Детерминации этического характера взаимодействий, осуществляемых в рамках исследования, сводятся поэтому к механистическому исполнению этих правил. Практика получения от участников исследования заблаговременного согласия, данного на основе предоставленной информации, является основным примером последовательного бюрократического сведения исследовательской практики к статичному представлению об этическом. Белмонт определяет практику согласия, данного на основе полученной информации, в качестве манифестации принципа уважения к людям. В отчете оговорено, что данное согласие предполагает информирование участников о целях и условиях работы, они рассматриваются в качестве людей, которые в состоянии понять данную информацию, а кроме того они уведомляются о добровольном характере участия. Соглас-

¹ В данном контракте, the Federelwide Assurance (FWA), прописаны условия, в соответствии с которыми институты применяют федеральные правила к исследованиям, проводимым их сотрудниками. Этот контракт требуется для получения любого федерального финансирования и включает условия создания местных институциональных комиссий, которые должны регистрироваться федеральным правительством. Институты могут предлагать альтернативный набор этических принципов, на основании которых будут строиться процедуры этического надзора, однако почти ничего не сказано относительно того, какие альтернативы регулирующие инстанции считают эквивалентными. Образец заявления доступен на: <<http://www.hhs.gov/ohrp/humansubjects/assurance/filasur.htm>>.

но Белмонтскому отчету, только тогда, когда эти условия соблюдены, исследование демонстрирует уважение к людям. В практике этического надзора, однако, белмонтское представление о согласии, данном на основе полученной информации, *«превращается в краеугольный принцип исследовательской этики»* [Rhodes 2005: 6].

Комиссии, осуществляющие надзор за исследованиями, не способны добиться бюрократическими методами, чтобы исследовательский проект отвечал определениям этического, если они не включают меры предосторожности для получения подобного согласия или правила для его отзыва. К несчастью, многие комиссии неверно трактуют согласие на основе полученной информации в качестве манифестации присущей исследованию этики: если данный тип согласия получен заранее, исследование считается этичным; если нет — неэтичным¹. В качестве поддержки своих принципов процедуры надзора последовательно фокусируются на артефактах согласия, данного на основе полученной информации («документах о согласии»), в своих оценках этичности исследовательского проекта. В соответствии с федеральными правилами комиссии требуют, чтобы эти документы детально описывали все заранее определенные последствия работы с респондентами: цели исследования, методы, риски, выгоды, конфиденциальность, а также содержали напоминание о добровольном характере участия. В случаях, когда согласие, полученное на основе предоставленной информации, дается на словах, от исследователей требуется представить четкие сценарии того, что будет делаться перед началом работы — они должны включать ту же самую информацию, что и документы о согласии, полученном на основе предоставленной информации. Независимо от требуемого формата заранее оговоренные детерминации формы и содержания этих процедур по получению согласия, данного на основе предоставленной информации, *«на самом деле представляют информантов антрополога не в качестве автономных личностей, вовлеченных вместе с этнографом в акты интерпретации и наррации о природе социальной и культурной жизни, но в качестве конкретных „людей“, чье согласие может и должно быть дано на основе полученной информации»* [Strathern 2000: 245].

Согласие, полученное на основе предоставленной информации, становится особым делом благодаря своему центральному положению в этических правилах и документации этического. Академические статьи, описывающие инновационные

¹ Данная точка зрения не признает тот факт, что *«согласие, данное на основе полученной информации, является не принципом, а практикой, предназначенной для того, чтобы воплотить и отразить этический принцип уважения к людям»* [Simmering, Schwegler 2005: 44].

форматы перевода документов о согласии и выгоды, которые влечет использование визуального материала в деле получения согласия, данного на основе предоставленной информации, уже стали общим местом в журналах, посвященных исследовательской этике. Компании, финансирующие исследовательскую деятельность, снабжают специалистов образцами документов о согласии, соответствующим закону и требованиям комиссий, предъявляемым к форме и содержанию согласия. Многие из этих усилий заслуживают похвалы за попытки сообщить участнику как можно больше информации о проекте, и все больше и больше инкорпорировать представления о личности и структурах принятия решений в контексты, в которых проводится исследование (см., например, [Marshall 2006]). Тем не менее правовой акцент на согласии, данном на основе предоставленной информации, как на процедуре, отдельной от работы с респондентами, неправомерно исключает социальные последствия исследования в качестве влияния, оказываемого на процедуры получения согласия, данного на основе предоставленной информации.

В 2004 г. на конференции, посвященной исследованию индейских племен, чиновник высшего ранга из федеральной службы по защите исследований о человеке спросил присутствовавших о том, получали ли они согласие своих подопечных. Получив утвердительный ответ, чиновник предостерег аудиторию, объяснив, что согласие, данное на основе предоставленной информации, является не действием, но «даром» участников исследования. Этот дар, объяснил он, следует беречь как проявление их доверия. Смысл этих замечаний был вполне благонамеренным — согласие, полученное на основе предоставленной информации, является не действием, которое необходимо осуществить по отношению к участникам исследования, как об этом обычно говорят на бюрократическом новоязе. В то же время в этой реплике согласие, данное на основе полученной информации, представлено в качестве возможного наделяния участника автономией. Участники представляют свою личную суверенность исследователям в качестве условия участия в исследовательском проекте, находящемся под контролем исследователя. Дар согласия — как он представлен в данной реплике — не выражал никаких отношений вне непосредственного контекста процедуры получения согласия, данного на основе полученной информации. В этих высказываниях дар не описывался в московском смысле «тотального социального факта». Скорее, социальные взаимоотношения остались внешними по отношению к процедуре согласия, данного на основе полученной информации, за исключением туманного представления о доверии в исследовании.

Прагматика социальности

Фетишизация согласия, данного на основе полученной информации, подчеркивает социально исключительное положение, которое нынешние системы правил и бюрократические практики приписывают исследованию. Заблаговременное получение и контроль за документами о согласии, данным на основе полученной информации, а также сценариями (необходимыми в случае устного согласия), фиксируют условия работы с респондентами, не принимая в расчет вклад участников или, во многих случаях, контекстуально ощутимые детерминации рисков для участников исследования [Sieber 2006]. В лучшем случае мотивации, верования и заботы участников исследования представлены во время работы комиссии одним из ее членов или внешним экспертом, знающим контекст исследования, или представителем исследуемого населения¹. Как отмечает Мерилин Страферн, представление об исследовательской работе, лежащее в основе этих практик, «возвращает пробный, неопределенный и непредсказуемый характер социальных отношений назад в „точку продуцирования“, где инициатором выступает этнограф» [Strathern 2000: 295]. Гирцевская фикция взаимных ожиданий сменяется неверным представлением о всесильном исследователе, способном на то, чтобы заблаговременно ограничить межличностную деятельность. Заблаговременное выявление рисков, намерений и условий взаимодействия является центральным *«аспектом [так сказать] заблаговременной этики, этики переговорного процесса, условия которого определены заранее, этики, преуменьшающей творческую силу социальных отношений»* [2000b: 295]. Более того, подход к этике как к заранее известной системе социальных отношений не свободен от своих собственных практических дилемм. Они возникают тогда, когда участники выступают против пределов, наложенных условиями участия (например, когда пишут в газеты).

Критика практик контролируемой исследовательской этики не отрицает, что отношения, инициированные и поддерживаемые благодаря исследованию, свободны от властного неравенства. Скорее, эта позиция защищает широкое представление об уважении к людям, проблематизируя переговорный

¹ Многие комиссии требуют для исследований, проводимых вне США, внешнего надзора, осуществляемого этическими комиссиями, существующими на местах. Поскольку такие комиссии существуют не во всех странах или сообществах, в которых проводятся исследования, подобный надзор не обязательно предоставляет больше сведений о социальном контексте исследования, чем могут добыть американские комиссии. Считается, что этот «местный» надзор, однако, должен продемонстрировать, что комиссии строят свои правила на адекватном представлении о местном контексте исследования, как оговорено в американских федеральных законах.

процесс по поводу власти, возникающий между исследователем и респондентом. Антропология все больше и больше превращает институции государственной и финансовой власти в объекты исследования. В данных контекстах представление о том, что вред, провоцируемый исследованием, проистекает из относительной власти исследователя и может быть минимизирован проспективным согласием, полученным на основе предоставленной информации, является недостаточным. В более широком смысле этнографическое исследование последовательно демонстрирует, что структурная экономическая, политическая и социальная власть последовательно оспаривается и подрывается на практике. Это наблюдение применимо к работе с респондентами — участники исследования могут манипулировать наркотическими режимами с тем, чтобы соответствовать задачам, внешним по отношению к исследованию, сообщать неверную информацию и не уважать приватность. Модель заранее одобренного согласия, полученного на основе предоставленной информации, не больше исключает эти социальные процессы из встречи исследователя и респондента, чем соблюдение требуемых правил для получения этого согласия делает исследование этичным.

Ресоциализация исследования и реконцептуализация исследовательской этики необходимы для подлинного уважения к участникам исследования. Это потребует признания согласия, полученного на основе предоставленной информации, в качестве трудно поддающегося влияниям компонента социального взаимодействия, в рамках которого проводится исследование. Согласие, данное на основе предоставленной информации, следует понимать как часть постоянной калибровки ожиданий всех вовлеченных в исследование. Если его понимать как дар, оно должно предстать лишь манифестацией взаимных обязательств и тем, что порождает и расширяет социальные взаимодействия. Согласие, данное на основе полученной информации, нужно понимать как процедуру, конституирующую социальные взаимоотношения через переговорный процесс по поводу власти. Оно неотъемлемая часть социальных отношений, а не дополнение к ним.

Это не следует отбрасывать как семантические придирки. Речь идет о вещах, укорененных в прагматике этического контроля и работы ученого с информантом. Этнографы регулярно обращаются в комиссии с просьбами об отмене требования о согласии, полученном на основе предоставленной информации, для своих исследовательских проектов. Их проекты включают примечательные правовые аргументы, демонстрирующие, что неформальный характер этнографического исследования делает согласие, данное на основе предоставленной

информации, «неисполнимым». Рассмотрение в комиссиях данных проектов, однако, последовательно идентифицирует детальные планы переговоров по поводу получения разрешения на взаимодействие с индивидуумами и посредниками (муниципальными чиновниками, лидерами общин или институциональными администраторами). Короче говоря, эти проекты подчеркивают дух согласия, данного на основе полученной информации, и демонстрируют приверженность «развивающейся этике», в соответствии с которой разговор об этике начинает фокусироваться на переговорном процессе по поводу индивидуальных или общественных интересов [Pels 2000: 155]. Тем не менее они считаются несовместимыми с бюрократической манифестацией уважения к людям. Этот разрыв между институциональными требованиями документации этического и этическими установками ученых последовательно превращает этнографов в глазах комиссий в преступников [Katz].

Признание социальной прагматики исследования необходимо для того, чтобы минимизировать напряжение, возникающее между исследователем и надзорными комиссиями по поводу подходящих способов реализации этических установок во время исследования. Этический надзор должен подчеркнуть, что исследование по сути своей является социальным явлением, и привлечь внимание к контекстам его практики, а также намерениям и власти, которые поддерживают его. Это потребовало бы от исследователей прояснить их нередко неосознанные этические установки, а от комиссий по этике признать контекстуально и методологически пригодные приложения этических стандартов. Комиссия, в которой я состою, часто напоминает ученым, заявляющим о невозможности получения обсуждаемого согласия, что трудно (и этически проблематично) существовать среди людей, проникать в их частную жизнь, открыто фиксировать результаты встреч с ними без какого-либо формального разрешения или разговора об исследовании и его задачах. В то же время комиссии по надзору должны признать вероятность ситуаций, когда цели и следствия исследования могут быть успешно донесены до участника, поняты им и признаны в качестве добровольных таким образом, что это не может быть отражено в документах, требуемых правилами. Некоторые позитивные усилия в этом направлении предпринимаются, однако нужна дополнительная работа, чтобы рефокусировать процедуры этических комиссий на реальных этических проблемах, а не на механическом приложении требований¹.

¹ Например, был создан журнал, предоставляющий эмпирическую помощь для исследователей и комиссий в их переговорах по поводу правовых и институциональных стандартов процедур этического надзора [Sieber 2006].

К этике власти

В настоящее время исследовательская этика является предметом споров относительно академической свободы и пределов государственной власти. Эти дискуссии о власти этики как технологии ответственности, безусловно, являются важными. Они, однако, оказываются эпифеноменами более широкого исключения исследования из прагматики социального взаимодействия. Бюрократическая власть, контролирующая этику, возникает из представления об исследовании как об особой форме поведения, которая может стать объектом бюрократизации. Напротив, признание социальной природы исследования направляет разговор об этике на динамический, контекстуальный, межличностный переговорный процесс по поводу власти, возникающий на основе взаимных ожиданий — одним словом, эти переговоры становятся этикой власти. Она не отвергает престиж или институциональные ресурсы исследователя, однако она не исходит из того, что роль исследователя со всей необходимостью предполагает большую контекстуальную власть, чем роль участника. Признание социального характера исследования все больше и больше бросает вызов бюрократической рациональности, очевидной в нынешних процедурах этического надзора. Она требует, чтобы согласие, данное на основе полученной информации, например, рассматривалось как акт межличностной коммуникации, осуществляемой в рамках переговорного процесса между исследователем и участником — а не как взаимодействие заблаговременно ограниченное и прописанное. В этике власти практика согласия, данного на основе полученной информации, признает социальную личность и индивидуума в качестве субъекта социального действия. Короче говоря, она воплощает уважение к людям как сложным субъектам действия, способным сознательно влиять на социальные миры.

Этика власти не отвергает важность включения в исследовательские практики этических принципов. Скорее, она ставит под сомнение данные принципы, выступая против неверных представлений — о находящемся под контролем контексте исследования и асоциальности участника проекта. Когда участники исследования признаны в качестве обладающих властью в ситуации встречи исследователя и информанта, этические соображения демонстрируют уважение к людям, которое наделяет этой властью индивидуумов. Это требует сдвига в концептуализациях этического — от диктата статичных правил и отчетов в сторону концептов личности и автономии, которые меняются в зависимости от исследовательского контекста, сообщества и культуры. В этике власти уважение к людям требует, чтобы культурные верования, институции и

нравы рассматривались в ситуации встречи исследователя с информантом — а не только чтобы правила переводились на местные диалекты.

Указывая на необходимость ресоциализации исследования благодаря выработке этики власти, я стремлюсь избежать головоломок, порождаемых концептуализациями исследования как особой формы межличностных взаимодействий. Дилемма публичности была порождена стремлением соответствовать требованиям системы, которая обращала недостаточно внимания на социальный характер встречи исследователя и информанта. Хотя этические кодексы и процедуры этического контроля могут быть ценными инструментами совершенствования проектов и практик, они рискуют свестись к механическому исполнению правил, пока не будет признана фундаментальная социальность исследования. Учитывая структуру нынешней системы исследовательской этики, при которой работают американские ученые, быть может, неудивительно, что многие специалисты и участники чувствуют, что их власть над условиями, в которых должна проходить встреча исследователя и респондента, ограничена бюрократической регламентацией и властью этики, подвергаемой контролю.

Пер. с англ. Аркадия Блюмбаума

Список сокращений

AAA — American Anthropological Association

Библиография

- American Anthropological Association*. Principles of Professional Responsibility (amended version of statement adopted in May 1971). Washington, D.C., 1986.
- Code of Ethics of the American Anthropological Association*. Washington, D.C., June 1998.
- American Anthropological Association*. Statement on Ethnography and Institutional Review Boards. Washington, D.C., June 2004.
- Amit V.* The University as Panopticon: Moral Claims and Attacks on Academic Freedom // Strathern M. (ed.). Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics, and the Academy. L., 2000. P. 215–235.
- Geertz C.* Thinking as a Moral Act: Ethical Dimensions of Anthropological Fieldwork in the New States // Available Light: Anthropological Reflections in Philosophical Topics. Princeton NJ, 2000. P. 21–41.
- Gunsalus C. K., Bruner E., Burbules N., Dash, L., Finkin, M., Goldberg J. P., Greenough W. T., Miller G., Pratt M. G.* The Illinois White Paper — Improving the System for Protecting Human Subjects: Counteracting IRB Mission Creep' University of Illinois Law & Economics

Research Paper No. LE06-016. Available at: <<http://ssrn.com/abstract=902995>>.

Hamburger P. The New Censorship: Institutional Review Boards // University of Chicago Public Law Working Paper No. 95. Available at <<http://ssrn.com/abstract=721363>>.

Katz J. Ethical Escape Routes for Underground Ethnographers. Unpublished m.s. <<http://www.sscnet.ucla.edu/soc/faculty/katz/pubs/UndergroundEthnographersDraft.pdf>>.

Marshall P.A. Informed Consent in International Health Research // Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2006. Vol. 1. No. 1. P. 25–42.

National Research Council. Protecting Participants and Facilitating Social and Behavioral Sciences Research. Washington DC, 2003.

Pels P. The Trickster's Dilemma: Ethics and the Technologies of the Anthropological // Strathern M. (ed.). Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics, and the Academy. L., 2000. P. 135–172.

Rhodes R. Rethinking Research Ethics // American Journal of Bioethics. 2005. Vol. 5. No. 1. P. 7–28.

Shweder R.A. Tuskegee Reexamined // Spiked. 8 January 2004. Available at: <<http://www.spiked-online.com/Articles/0000000CA34A.htm>>.

Sieber J. The Evolution of Best Ethical Practices in Human Research Ethics // Journal of Empirical Research on Human Research Ethics. 2006. Vol. 1. No. 1. P. 1–2.

Simmerling M., Schwegler B. Beginning Anew: Same Principles, Different Direction for Research Ethics // American Journal of Bioethics. 2005. Vol. 5. No. 1. P. 44–46.

Strathern M. (ed.). Audit Cultures: Anthropological Studies in Accountability, Ethics, and the Academy. L., 2000.

Weber M. Bureaucracy // Roth G., Wittich C. (eds.). Economy and Society: An Outline of Interpretive Sociology. Berkeley CA, 1978. Vol. II. P. 956–1005.

ОТ РЕДКОЛЛЕГИИ

При подготовке этого форума выяснилось, что вопросы этики полевых исследований интересуют далеко не всех исследователей, профессионально занимающихся полевой работой. Многие относятся к этическим проблемам, возникающим при работе с информантами, вполне равнодушно, считая их не имеющими особого значения или даже надуманными. Это обстоятельство только укрепило наше мнение о необходимости проблематизации самой темы этики полевых исследований в российской этнографии, фольклористике, социологии и других науках, имеющих дело с информантами. И нам приятно, что это намерение нашло поддержку среди участников дискуссии: *«практика полевого исследования, которая неизбежно рутинизируется, становится буднями антрополога/этнографа, не должна становиться непроблематичной в отношении вопросов этики. Важно, чтобы каждый исследователь (молодой или уже опытный) каждый раз задумывался о том, в какой мере он честен перед своими информантами — людьми, которые простодушно и, в большинстве случаев, безвозмездно помогают ему в работе, — а также перед своими коллегами по цеху»* (Зинаида Васильева).

Отсутствие чувствительности к этическим коллизиям у значительной части российских исследователей является, пожалуй, главной нашей проблемой. Не случайно сразу в нескольких ответах содержатся размышления по поводу причин этого равнодушия. По мнению Сергея Абашина, *«в российской этнографии все еще доминирует наивно-романтическая точка зрения, согласно которой наука вообще — это абсолютное добро, которое приносит людям и обществу только положительные плоды, просвещает их, открывает им дорогу в рационально устроенное будущее. То же относится и к этнографии, которая сообщает сведения о других культурах и открывает законы их жизни, а значит, тем*

самым, будто бы выполняет исключительно гуманистическую миссию. Связь научного знания с угнетением и подавлением, о которой много пишут в европейской и американской антропологии, кажется большинству отечественных этнографов либо преувеличенной и косвенной, либо вовсе надуманной. Отсюда российские исследователи приучены не видеть моральную сторону своей деятельности, а если и сталкиваются лично с такими рода проблемами, то не выносят их на всеобщее обозрение».

О причинах этого равнодушия пишет Жанна Кормина. С ее точки зрения, «в отечественной антропологии (этнографии) <...> не было периода деколонизации, сопровождаемого осознанием моральной ответственности перед чужой культурой за ее использование. У нас, наоборот, „поле“ оказывается слишком близким. И это одно из объяснений, почему вопросы этики кажутся нам не вполне релевантными». И далее: «мы исходим из того, что имеем полное право на их (информантов) культурное знание, т.к. это наше общее достояние, просто по каким-то причинам они владеют им чуть лучше. Так что и вопросы этики мало отличаются от морали при построении нормальных человеческих отношений: всех учат в детстве, как вести себя в гостях, и этого обычно достаточно». Действительно, подобный взгляд достаточно распространен и вполне естественно, что он нашел свое выражение и в рамках состоявшейся дискуссии (см., напр., ответы Ларисы Павлинской).

Между тем, ситуацию в поле никак нельзя отнести к числу ординарных именно в этическом плане. В обыденной жизни немногие из нас способны без особых церемоний вторгаться в чужую жизнь. В полевой работе это считается нормой. Но эта «норма» чревата многими осложнениями. Антрополог ставит и себя и информантов в весьма щекотливое положение. Он приобретает власть, но и над ним приобретает власть; он угнетает и его угнетают. Как пишет Нона Шахназарян, исследователю, работающему в поле, часто приписываются властные полномочия и разнообразные роли (корреспондента газеты, уполномоченного неких структур, шпиона, а то и всех вместе). В Индии, где ситуация близка российской, «студентам в полевой работе приходится сталкиваться с весьма реальной проблемой: люди ищут у ученых помощи» (Амрит Сринивасан). Вместе с тем, антрополог нередко сам попадает в полную зависимость от информантов (ср. об этом в ответах Жанны Корминой).

Но если бы дело ограничивалось неизбежно возникающими сложностями в отношениях между этнографом и информантом. По словам Ольги Бойцовой, «проблема в том, что антропологическое исследование изначально неэтично. Нарушение эти-

ки заложено в самом этнографическом методе. Этично ли, проводя включенное наблюдение, восемь часов в день участвовать в жизни сообщества, а потом, оставшись в одиночестве, два часа строчить в полевом дневнике, о существовании которого (как и о теме исследования) другие члены сообщества не подозревают, записывая все, что произошло, и все, что было сказано?»

Сходное мнение высказывает Сергей Абашин, который считает вполне возможным, что характерное для российских этнографов отсутствие рефлексий по поводу этических коллизий является своеобразной защитной реакцией на заведомую неэтичность этнографической работы. *«Полевое исследование само по себе является ненормальным явлением. Человек, который постоянно что-то выпытывает, ходит из дома в дом, без разбора навязывается в гости и приятели, ведет себя „неправильно“ — и с точки зрения своего привычного образа жизни, и с точки зрения изучаемого общества. Если все время подвергать любые шаги исследователя этической оценке, то неизбежно придешь к выводу об изначальной асоциальности и аморальности профессии. Чтобы этого не произошло и чтобы сохранить хотя бы видимость „научности“ (а без нее исследовательская работа теряет смысл), этнограф вынужден закрывать глаза на неприятные вопросы и подозрения».*

Действительно, методика этнографического исследования складывалась еще в те времена, когда наука обладала высшим авторитетом, а информанты воспринимались как безличные носители той информации, которая необходима этнографу. В России и на всем постсоветском пространстве эта ситуация не претерпела особых изменений вплоть до последнего времени. По мнению Елены Боряк, *«определенная „легкость“ в подходах к проблеме этичного отношения к респонденту долгое время поддерживалась сугубо объективными причинами — для последних десятилетий была характерна „уступчивость“ респондента, годами приобретенная готовность „по первому требованию“ отвечать любому „чужаку“ на любые вопросы — в любом месте и любое время. Это ощущение незащищенности, полной открытости, более того — отсутствия каких-либо барьеров (в первую очередь — этических) на пути к „источнику“ информации привело к тому, что проблема „личности“ интервьюированного не то что не существовала, но скорее всего — не осмысливалась. Позволю утверждать, что следствием этого явилось в определенной мере потребительское отношение к информанту, когда этнологи более всего заботились о „чистоте эксперимента“, добывании информации любым путем, и менее всего — о принципе защиты своего респондента, опасении не поставить его в унижительное, еще хуже — зависимое состояние».*

Тем не менее, ситуация меняется. Уже одно то, что вопросы этики стали обсуждаться, свидетельствует о наступлении перемен. Причины поворота к этим вопросам видятся участниками дискуссии по-разному. Мария Ахметова считает, что их несколько: одна из них имеет общий характер и связана с актуальностью проблемы прав человека в современном обществе; две других вытекают из ситуации, сложившейся в социальных науках: интерес к современной традиции и к изучению городских субкультур. *«Это предполагает как то, что исследователю в этом случае проще представить себя на месте информанта, так и то, что у информанта может возникнуть интерес и, вероятно, техническая возможность ознакомиться с материалами исследования, в котором говорится и о нем тоже».*

По мнению Елены Боряк, усиление внимания к проблемам этического характера *«связано с тем, что привычное для этнографа „поле“ в лице его респондентов за последнее десятилетие резко поменялось. Открытость общества, его широкая информатизация, доступность и адресность информации делает потенциального респондента более вдумчивым, требовательным, внимательным. Изменился и сам исследователь — в его сознании безусловно произошла смена понятий — представление о „людности“ (по Ф. Вовку); „народе“, „массах“, „населении“ (именно такой подход мы увидим, к примеру, в вопроснике Людмилы Шевченко, подготовленном ею в 50-х гг. XX в.) как аморфном, индифферентном объекте исследования безвозвратно ушло в прошлое».* В то же время Ирина Разумова видит основную причину актуализации проблем научной этики в повышении уровня рефлексии самого научного сообщества. Но, несмотря на явные сдвиги, приходится согласиться с мнением Александры Брицыной о *«чрезвычайной неспешности освобождения исследовательского сознания от тоталитарных стереотипов».*

Так или иначе, всем нам придется задуматься над тем, каким образом минимизировать возможные негативные последствия полевой работы. И в этой ситуации несомненную ценность представляет опыт наших коллег из тех стран, где попытки решения этических проблем уже имеют определенную традицию. В американских университетах существуют Службы по этике, которые требуют обязательного изучения этического кодекса. Отношения с этими Службами складываются, как и следовало ожидать, непросто.

Как пишет Дональд Ралей, для того чтобы получить одобрение проекта, *«я должен был представить описание проекта, где рассказывалось о его цели; то, что я собираюсь сделать (это нужно было описать подробно с тем, чтобы члены комиссии смогли оценить риск для участников исследования); каковы бу-*

дут участники проекта; методики их отбора; и наконец какое вознаграждение — если оно будет — я предложу за участие. Я должен был объяснить, почему я считаю, что мои информанты не будут подвергаться риску, какие шаги я предприму для того, чтобы минимизировать возможный риск, возникший во время работы; какие меры безопасности приму для сохранения приватности и конфиденциальности, а также как будет достигаться предварительное согласие на участие (меня снабдили договором о согласии для интервьюируемого, а также договором о правах на использование материалов интервью). В договоре о согласии были прописаны права интервьюируемого (такие как право не отвечать на вопросы, право попросить отключить диктофон, право закончить интервью в любую минуту, право сохранять анонимность и т.д.). В договоре о правах на использование интервью было указано, какие ограничения, если таковые имеются, хотел бы наложить информант на использование мною транскрибированных материалов, а также на то, что я могу делать с записью».

Как видим, процедура достаточно сложная, и естественно, что реакция на нее неоднозначна. Не случайно Дональд Ралей предвещает подробное описание этой процедуры следующим соображением: *«Согласившись поделиться с вами своим опытом относительно того, насколько эта процедура облегчает или мешает исследованию, я намерен воспользоваться предоставленной возможностью, чтобы пожаловаться на то, что, на первый взгляд, поразило меня как ненужное вторжение со стороны службы по этике. Однако, взвесив альтернативы и познакомившись поглубже с общенациональными дебатами, являющимися контекстом моего опыта, я должен сделать вывод о том, что пока не будет придумано ничего лучше, обязательное изучение этического кодекса и обязательный надзор представляются мне необходимыми».*

Судя по полученным ответам, подобная оценка ситуации является весьма распространенной. По мнению Брюса Гранта, *«грозные IRB, вызывающие раздражение и заставляющие заполнять кучу бумаг, все же служат нам всем напоминанием о том, что даже самые невинные на вид проекты могут иметь отложенные последствия».* И далее: *«Институциональная оценка многим кажется обременительной, но добра в ней, как говорится, больше, чем зла — того зла, которому мы поддаемся, стоит на мгновение забыть: в современном мире то, что мы пишем, может быть доступно всем».* Собственно, об этом же пишет и Брайан Швиглер: *«Профессиональные и правовые этические кодексы могут играть позитивную роль в исследовательской работе. Давая исследователям возможность поразмышлять над рисками и выгодами, которые заключает в себе участие в исследовании,*

процедуры этического надзора могут способствовать улучшению структуры проекта, а также отношений между исследователями и участниками».

С такой оценкой отношения к этическому кодексу в конечном счете согласен и Маркус Бэнкс, когда он пишет: *«Впрочем, другие антропологи — особенно студенты — называют эту процедуру полезной. Несмотря на то, что <...> на вопрос, сформулированный в рамках нормативной этической системы, редко можно дать определенный ответ, само размышление над подобными вопросами направляет внимание антрополога к этической стороне исследования и позволяет заранее предусмотреть ситуации, с которыми он может столкнуться».* Но вместе с тем он указывает на две существенные проблемы, которые возникли в последнее время: *«Во-первых, обсуждение этических вопросов в рамках антропологических исследований идет вслед за возникающими проблемами, а не предупреждает их. Во-вторых, правовая сторона этических норм поведения плохо сочетается с этическим духом самой научной дисциплины. Что касается первого вопроса, то периодически возникают ситуации, когда отдельных антропологов или группы исследователей обвиняют в неэтичном поведении — в результате пересматриваются и переписываются существующие этические кодексы. Однако сейчас на первый план вышла вторая проблема, и попытки ее решения могут в конечном счете оказаться более продуктивными, чем прежние пожарные меры. Поскольку область занятий нашей науки по определению связана с „социальным“, нет — или во всяком случае не должно быть — различий между личными и профессиональными нравственными правилами, которыми руководствуется антрополог. Следовательно, жесткое следование некоей норме в профессиональной жизни — в особенности если эта норма в первую очередь ориентирована на то, чтобы предупредить возможное юридическое деяние — приводит к дегуманизации не только самого антрополога, но и объекта его/ее исследования. Конечно, то же самое можно сказать о многих других отраслях науки, однако в силу самой природы этнографического исследования социальный антрополог едва ли может определить с абсолютной точностью, какие из его „полевых“ действий считаются „исследованием“ (и, следовательно, ограничиваются рамками некоей этической нормы), а какие нет. Именно поэтому многие антропологи, пытаясь применять в своей работе этические нормы, основанные на правилах, выработанных в первую очередь для медицинских исследований, сталкиваются со значительными трудностями. В медицинских контекстах сфера исследовательской деятельности и, в частности, ее потенциально наиболее опасные элементы (как, например, непредвиденные побочные эффекты при использовании наркотических средств) определены с большой четкостью. По*

завершении исследования его участники не подвергаются никакому риску: при обработке полученные у них сведения становятся анонимными и обрабатываются, так что даже если впоследствии личность участника исследования может быть установлена, в подавляющем большинстве случаев это практически не может причинить ему/ей ни малейшего ущерба. Социальные, и в особенности антропологические, исследования — совсем другое дело. Сама исследовательская „деятельность“ (например, ведение беседы) чаще всего не несет в себе практически никакого риска. Этические и моральные проблемы возникают на следующих этапах, при публикации и распространении собранных материалов. Публикации (в том числе фильмы и фотографии — см. об этом ниже) могут нанести вред или причинить боль отдельным людям, однако еще сложнее обстоит дело в тех случаях, когда дело касается целого корпуса исследований — например, антропологических работ, посвященных „примитивному обществу“ конца XIX в. — который создает и насаждает определенные стереотипы и может тем самым нанести вред и причинить боль безымянным миллионам людей»¹.

Несоответствие кодифицированных норм реальным проблемам, возникающим на разных этапах работы, заставляет исследователей не просто критически относиться к ним, но и предполагать, «что институализация правил на уровне академических институтов связана не столько с истинной заботой о благополучии информантов, сколько с желанием обезопасить университеты от судебных исков» (Катриона Келли). Нам до подобной ситуации (или хотя бы до подобных подозрений) надо еще дожить, а пока на повестке дня другие вопросы: следовать ли тем путем, каким идут научные традиции других стран (создание этических кодексов, служб по этике и т.п.), или и в этой ситуации искать «свой выход»?

Как всегда в таких случаях, в дискуссии представлены обе точки зрения, но все-таки скепсис по отношению к кодифицированным правилам явно перевешивает их позитивную оцен-

¹ В этой связи нельзя не вспомнить, например, об ответственности российских этнографов перед народами Севера и Сибири за навязывание им представлений о «золотом веке», ассоциирующемся с традиционной культурой. Ситуацию точно описал В.А. Тураев: «Убежден, что трагедию коренных малочисленных народов в 90-е гг. XX в. подготовили именно мы, этнографы. 10 лет их жизни бесславно потрачены на так называемое „возрождение“, которое повсеместно было воспринято как возврат к столь милой для нас этнографической норме — традиционной культуре. Сегодня уже всем стало ясно, что „возрождение“ не состоялось. И дело здесь не в том, что у государства не оказалось политической воли для такого возрождения. Дело в том, что оно вообще не могло состояться. Ибо нельзя войти в одну и ту же реку дважды» (Тураев В.А. Ответы на вопросы редколлегии // Антропологический форум. Специальный выпуск к VI Конгрессу этнографов и антропологов России. 2005. С. 152). Наверное, не все могут согласиться с этими утверждениями, но сама постановка проблемы ответственности этнографов за результаты своей деятельности представляется необходимой.

ку. Эльза Гучинова и Елена Боряк считают создание корпоративного соглашения по исследовательской этике необходимым и полезным, хотя обе признают, что его эффективность вряд ли будет велика. *«Тем не менее даже как документ символического значения оно даст ориентиры для молодых исследователей и как-то очертит границы дозволенного в профессиональной этике и станет шагом к становлению антропологического сообщества в России»* (Эльза Гучинова).

Те, кто настроен более скептически, располагают серьезными доводами. Они достаточно полно представлены в ответах Сергея Абашина: *«Во-первых, сам по себе этический кодекс не отвечает на многие вопросы, которые возникают в ходе исследования. <...> Во-вторых, <...> далеко не все российские этнографы озабочены проблематикой такого гипотетического документа. Без какой-то общей искренней заинтересованности этический кодекс превратится в пустую декларацию, которая своей беспомощностью будет только дискредитировать провозглашенные в ней принципы. В-третьих, российские этнографы пока еще слабо осознают свою корпоративность. Ученых больше связывают вертикальные, а не горизонтальные отношения. Без приказа сверху у нас почти ничего не делается, но сами начальственные приказы преследуют, как правило, цели, далекие от науки как таковой. В-четвертых, потребность в разработке такого рода документа должна быть осознана не только и не столько внутри этнографического сообщества. Этот документ должен стать результатом диалога этнографов и „гражданского“ общества (правозащитных организаций, журналистов, разного рода общественных фондов, юристов и т.д.). Однако я пока не вижу ни самого общественного запроса на научную этику, ни тех институтов, которые могли бы этот запрос сформулировать. К сожалению».*

Приходится согласиться со столь печальным резюме. Но тот же Сергей Абашин предлагает разумный выход из создавшейся ситуации. Он состоит не в том, *«чтобы усиливать контроль за действиями исследователя (все равно такой контроль не будет эффективным!), а в том, чтобы технология сбора информации стала предметом самостоятельного анализа и саморефлексии, чтобы нормой в профессиональном сообществе стало открытое и откровенное обсуждение этой стороны деятельности и чтобы обучение полевой работе начиналось с дискуссии об этике поведения исследователя».* Сходного мнения придерживаются и некоторые другие участники дискуссии (см., напр., ответы Александры Брицыной).

Мы намеренно не останавливались на частных (но от этого не менее важных) вопросах анонимности информантов, исполь-

зования технических средств, особенностей «входа» и «выхода» из поля и многих других. Мнения по этим вопросам различны (вплоть до противоположных). Судя по полученным ответам, вопросы, сформулированные редколлекцией, явно не покрывают всего того, что нуждается в обсуждении (см. вопросы, поставленные Ириной Разумовой, Виктором Воронковым, Владимиром Ильиным и другими).

В заключение хотелось бы отметить, что молодые исследователи оказались гораздо более чувствительными к проблемам этики, чем старшие коллеги. И это не только радует, но и вселяет надежду на то, что российские социальные науки преодолеют порог безразличия по отношению к тем, кому они обязаны своим существованием.

Редколлекция благодарит всех, кто принял участие в состоявшейся дискуссии.